

Михаил Петрович Арцыбашев

Смерть Ланде



Михаил Петрович Арцыбашев

Смерть Ланде

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2848835

Аннотация

«Зимой городок затихал. Все, что было в нем молодого, беспокойного, разъезжалось по большим городам. Оставались одни старики духом и телом, жили по непоколебимому, однообразному порядку: играли в карты, служили, читали и думали, что это правильная жизнь. На улицах тихо лежал неподвижный, холодный саван белого снега, а в домах тихо и сонно копошились конченные люди. А весной, когда черная, влажная земля начинала пахнуть и везде зеленело, и солнце радостно грело, высушивая каждый бугорок, и по вечерам было тихо и чутко, – каждый день с поездом кто-нибудь приезжал домой, и на улицах показывались оживленные, свежие лица, такие же молодые и радостные, как весна. И так же естественно, как прилетали на старые гнезда птицы, как росла на старых местах трава, было то, что именно весной все молодые, жизнерадостные люди возвращались в свой маленький, тихий, немного грустный городок...»

Содержание

I	5
II	16
III	21
IV	28
V	43
VI	50
VII	56
VIII	62
IX	75
X	82
XI	90
XII	98
XIII	102
XIV	105
XV	114
XVI	118
XVII	126
XVIII	134
XIX	139
XX	149
XXI	152
XXII	162
XXIII	171

XXIV

181

XXV

184

Михаил Петрович Арцыбашев Смерть Ланде

I

Зимой городок затихал. Все, что было в нем молодого, беспокойного, разъезжалось по большим городам. Оставались одни старики духом и телом, жили по непоколебимому, однообразному порядку: играли в карты, служили, читали и думали, что это правильная жизнь. На улицах тихо лежал неподвижный, холодный саван белого снега, а в домах тихо и сонно копошились конченные люди. А весной, когда черная, влажная земля начинала пахнуть и везде зеленело, и солнце радостно грело, высушивая каждый бугорок, и по вечерам было тихо и чутко, — каждый день с поездом кто-нибудь приезжал домой, и на улицах показывались оживленные, свежие лица, такие же молодые и радостные, как весна. И так же естественно, как прилетали на старые гнезда птицы, как росла на старых местах трава, было то, что именно весной все молодые, жизнерадостные люди возвращались в свой маленький, тихий, немного грустный городок.

Так, в мае приехал сын недавно умершего председателя

уездной земской управы, студент-математик Иван Ланде.

Целый день он просидел с матерью, все время с тусклыми, усталыми слезами рассказывавшей ему о смерти отца; а когда стало смеркаться, взял фуражку и пошел на бульвар, над берегом большой реки, еще полной от весенней воды. Там в одном месте берег падал вниз крутым обрывом и над ним были две лавочки из старых зеленых и мягких от сырости досок.

За рекой стемнело. Даль ушла куда-то в темный простор. На потемневшем глубоком небе тихо и незаметно высветились звезды, и все было полно той торжественной тишиной, когда кажется, что кто-то незримый, величавый и спокойный стоит над землей.

Только далеко внизу, на реке, протяжно, с непонятной тревожной грустью, точно предостерегая и напоминая о чем-то печальном и неизбежном, кричал пароход, и на широком речном стекле, странно светлом, когда везде было темно и черно, видна была беспокойная черная точка, быстро оставившая за собой ровную широкую серебряную полосу.

На бульваре было безлюдно и пусто. Только из окон клуба падали на землю желтые полосы света и в них двигались беззвучные тени, да на самом обрыве смутно чернели фигуры, вспыхивали вздрагивающие огоньки папирос и еще издали слышались голоса и смех. Ланде спокойно и тихо шел туда и улыбался. Он был легкий и тонкий человек, и шагов его почти не было слышно на мягкой земле.

– ...Запоем песню ли закричим так, чтобы на том берегу было слышно! – говорил полный и звонкий женский голос, и слова его мягко и радостно вспыхивали в густом теплом воздухе.

– Начинайте! – задорно отвечал мужской голос, и кто-то смеялся.

Ланде подошел и сказал:

– Здравствуйте!

Он говорил тихо, но внятно и спокойно, и его всегда было слышно.

– А, Ланде! – обрадованно и так резко, что садилось в ушах, закричал маленький, угловатый студент и через головы других протягивал ему большую руку, торчавшую из коротких рукавов тужурки.

Ланде, мягко улыбаясь, с удовольствием крепко и долго пожал ему руку и так же любовно и ласково стал здороваться с другими. Все радостно и оживленно пожимали его худую руку, и было что-то такое простое, искреннее, хорошее в этой общей радости, что ею заразился даже никогда еще не выдавший Ланде приезжий художник Молочаев, большой и сильный человек в широкой шляпе. Когда Ланде подошел к нему и сказал:

– Я – Ланде, познакомимся.

Художник ответил:

– С большим удовольствием! – и с улыбкой посмотрел ему в лицо, точно заглядывая в душу сквозь его чистые и спо-

койные глаза.

– Я уж о вас слышал! – прибавил он. Голос у него был твердый и звучный, как будто он бил в медный колокол.

– Разве? – спросил Ланде, улыбнулся и сейчас же отвернулся. Но в этом не было равнодушия, а была какая-то скрытая близость, точно он давно знал его.

– О чем вы тут? – спрашивал Ланде.

– Марья Николаевна хочет на луну прыгнуть! – смеясь, отозвался маленький студент.

– Это хорошо! – улыбнулся Ланде.

Больной студент Семенов хрипло закашлялся.

– А ты все болеешь? – ласково сказал Ланде и обнял его за плечи.

– Все... – грустно ответил Семенов, – по-прежнему.

– Ну, ничего! – начал Ланде, и голос его задрожал.

– Нет, брат, мне уж капут! – возразил Семенов, неестественно искривив в улыбке свое, старчески сморщенное от болезни лицо, и голос его против воли тонко и ярко прорезало острое отчаяние. – Скоро из меня хар-роший лопух вырастет!

Все притихли. Что-то холодное и чужое, и страшно близкое всем встало внутри них. Оттого отчетливо был слышен тихий, как слабо натянутая струна, голос Ланде, когда он говорил:

– Полно, голубчик! Нельзя так говорить! Нельзя так говорить о том, чего никто не знает. Все мы умрем когда-нибудь,

не я, не ты один, а все, и все вместе узнаем, конец ли, лопух ли, как ты сказал, или иная жизнь. Все! Неужели ты ничего не чувствуешь за этим словом?.. Не может такая сила страдания, любви и мысли не стать над землей, уйти в лопух. И все чувствуют это и верят, и ты веришь, а только не хочешь верить, потому что боишься, как ребенок, нового, непонятного. Ведь мы не знаем смерти, и страшно в ней нам именно то, что мы ее не знаем...

Та торжественная в своей простоте искренность, с которой он говорил свои спутанные, волнующиеся в воздухе слова, действовала на измученный мозг, как неуловимый мягкий запах, как теплая струя, нежащая душу, успокаивающая, отвлекающая обостренную мысль к чему-то неопределенному и светлому, как далекая заря. Детски доверчивая надежда робко засветилась в темной глубине дрожащего сердца, и, даже не вдумываясь в его слова, а только чувствуя их, Семенов улыбнулся спокойнее и светлее.

– Блажен, кто верует! – уже легко, шутя, сказал он.

Тогда все свободнее вздохнули и снова заговорили, задвигались. Незримый холодный призрак тихо отступил и снял свою страшную тяжелую руку.

По бульвару, чиркая длинными ногами по шуршащему песку, прошел высокий, черный как тень человек.

– Это Фирсов, – сказал Ланде и, напрягая голос, крикнул: – Фирсов!

– Кто такой? – тихо спросил Молочаев.

– Так, казначейский чин... – пренебрежительно и как будто досадуя на Ланде, махнул рукой Шишмарев.

Черная тень медленно остановилась.

– Это, кажется, вы, Иван Ферапонтович? – с неверным оттенком, так, что нельзя было понять, с каким чувством он говорит, спросил скрипучий деревянный голос.

– Я, – отозвался Ланде.

Чиркая ногами и из плоской тени превращаясь в длинного костлявого человека, Фирсов подошел.

– Здравствуйте, Иван Ферапонтович, здравствуйте! – преувеличенно радостно заговорил он и, точно стараясь шуметь и волноваться как можно больше, лез по ногам сидевших к Ланде.

– Осторожней... вы!.. – недружелюбно заметил Семенов.

– Здравствуйте, Фирсов! Как живете? – крепко пожимая ему руку, сказал Ланде.

– Что ж, – потирая руки, сказал Фирсов, – как я могу жить. Служба, служба – вот и вся жизнь! Только и живу духом в церкви, обновляюсь...

В его скрипучем голосе все время свистела тоненькая фальшивая нотка самоумиления, когда он говорил о своей жизни, и казалось, что он хвастается ею перед Ланде.

– Небогатая же у вас жизнь, – с открытой насмешкой сказал Шишмарев.

Медленным, как будто хрустящим движением Фирсов повернулся к нему.

– Вы думаете? – сквозь зубы спросил он и прибавил: – Большого богатства, как общение с Богом, не знаю... Вы, конечно, иначе смотрите?

В голосе его тихо вздрогнула скрытая угроза. Шишмарев посмотрел на него презрительно и зло и отвернулся.

– Да... – протянул Фирсов, помолчав. – А я, Иван Феррапонтович, на днях был в суде присяжным. Интересное дело попало. Судили, знаете, за кражу со взломом одного мастерового... Он тут у нас на паровой ткацкой служил мастером. Да вы его, кажется, знаете: Ткачев по фамилии...

– Ткачев? – испуганно вскрикнул Ланде, – да не может быть!

– Да, – с удовольствием сказал Фирсов, за кражу. – Дело-то само по себе пустое, но держал он себя... Можете себе представить: от защитника он отказался, сам говорил... «Я украл, говорит, конечно, но, господа присяжные, кто из вас без греха, пусть первый меня осудит!..» Кошунство, в сущности говоря! Но тут только я понял, какая сила в этих словах...

– Тут не в словах дело! – отозвался Семенов.

Фирсов вдруг весь как-то взъерошился и надулся.

– Нет, именно в этих словах!.. В словах!

И он спутанно стал доказывать, что именно эти слова, как чудо, как «слово Божие», независимо от того человека, который сказал их, применив к своей страшной и горькой жизни, «ударили по сердцам». И в том, что он говорил, было что-то

такое сухое, скучное, – его не стали слушать.

Марья Николаевна протянула руку в широком белом рукаве, точно крыло какой-то большой белой птицы, и громко сказала:

– Луна, луна всходит!

Фирсов круто замолчал и с выражением злой обиды посмотрел на нее.

– Да, конечно... луна важнее! – пробормотал он.

– Все важно, – ласково, успокаивая его, улыбаясь, сказал Ланде.

В глубоком мраке, не то очень близко, не то страшно далеко, из-за черного горизонта осторожно выглянул кто-то красный и тихо стал круглиться и расти, и сейчас же в темной воде заблестели искры, и тоненький, дрожащий золотой мостик ровно протянулся от одного берега к другому, точно таинственно и безмолвно предлагая легко перейти на ту сторону, в какой-то лазурно-темный и серебряно-светлый мир.

– Какая красота! – полным, восхищенным голосом сказала Марья Николаевна, и голос ее, сильный и свежий, радостно прозвучал над обрывом.

Ланде поднял на нее глаза и долго с радостью смотрел в молодое и красивое лицо, глубокими глазами глядевшее вдаль, мимо него.

– Иван Ферапонтович, – скрипучим, унылым голосом проговорил Фирсов и встал, – мы еще увидимся, конечно... А теперь я пойду.

Конечно, увидимся, – мягко и слабо пожимая ему руку с холодными и влажными пальцами, сказал Ланде.

Фирсов молча попрощался с другими и ушел, чиркая ногами.

– Охота тебе с ним связываться, – холодно пожал плечом Шишмарев, когда он отошел. – Ханжа, скарעד... по церквам шляется, а ребенка своего мучает.

– Он... – начал Ланде.

– Э, да оставь, пожалуйста! – с досадой перебил Шишмарев.

Ланде грустно улыбнулся и замолчал.

Луна всплыла над землею и повисла в воздухе, круглая, молчаливая и светлая.

– Вот, напишите что-нибудь такое, Молочаев! – не поворачивая головы, сказала Марья Николаевна. – Так я вас сразу в великие художники произведу!

Молочаев молча смотрел на луну, и глаза у него расширились, стали мягче и глубже, точно он видел что-то, невидимое никому, кроме него, таинственное и великое.

Шишмарев с пренебрежительным вниманием посмотрел на него.

– Напишет! – сказал он и, отвернувшись к Ланде, заговорил торопливо, резко и озабоченно: – Ланде, у нас тут была история на Вершиловской мельнице. Вершилов стал мясо гнилое выдавать, ну, они и того... побили стекла, управляющего помяли... Двадцать два человека взяли!

– А что, они правы, Ланде? – вдруг спросил Семенов с добродушной иронией.

– Да... – твердо ответил Ланде.

– Гм... – издал Семенов неопределенный звук и нахмурился.

– Семейства их в ужасном положении... Скверная история! – встряхнул головой Шишмарев. – Мы тут кое-что устроили для них да что!..

Все замолчали. Ланде смотрел в землю и слабо шевелил тонкими пальцами.

Семенов тихо кашлянул, и звук отчетливо отдался над обрывом. Луна незаметно, точно крадучись, поднималась все выше и выше над чем-то черным и непонятным, и чем выше она поднималась, тем понятнее и светлее становилось это черное, и скоро стали ясно, но призрачно видны противоположный берег и белые полосы тумана в лугах. От реки тихо вставал тот же белый, холодный туман, и над темной глубокой водой заходили бледные и молчаливые призраки.

Стало сыро и холодно. Семенов застегнул пальто, глубоко надвинул на голову фуражку, так что уши жалко оттопырились, точно у летучей мыши, и встал.

– Я домой... – сказал он. – Холодно... А ты, Соня, пойдешь?

– Нет, – задумчиво ответила тоненькая, как былинка, девочка, все время неподвижно сидевшая над самым обрывом.

– Ну, как хочешь... – мутным голосом, равнодушно ска-

зал Семенов... – Холодно. Приходи ко мне, Ланде!

– Хорошо, – ответил Ланде.

– До свиданья!

– Что? – машинально отозвался Молочаев.

– Задумался, художник! До свиданья!

Семенов болезненно сторбил спину и медленно пошел вдоль бульвара.

– Слушай, Леня... – тихо заговорил Ланде, и было видно, что думал он все время об этом. – Надо помочь тем...

– Да, что можно было – сделали. Средств нет никаких!

Ланде встал.

– Где же никаких?.. – сказал он задумчиво. – Ты приходи ко мне завтра... А теперь я пойду. Меня мама ждет.

Скоро стало совсем холодно. И земля, и небо, и вода, и лица людей – все голубело от холодного света луны и казалось прозрачным и холодным, как голубой лед. Шишмарев с Соней пошли в одну сторону, а Ланде, Молочаев и Марья Николаевна – в другую.

II

– Я с вас этюд напишу! – сказал Молочаев, близко наклоняясь к самому лицу Марьи Николаевны, ярко освещенному луной.

– Хоть два! – засмеялась она, и глаза у нее вспыхнули веселым гордым удовольствием.

Ланде поднял голову, посмотрел на них и сказал:

– Это хорошо...

Ему хотелось сказать: «Это хорошо, что вы оба такие молодые, красивые и что вы влюблены друг в друга!» Но он не сказал и только улыбнулся.

– Что же вы думаете устроить для рабочих? – вспомнив и делая серьезное лицо, спросила Марья Николаевна.

Ланде слегка развел руками.

– Особенного ничего... а так, на первое время... у меня деньги есть.

Молочаев посмотрел на него, и от его освещенного луной худого, некрасивого, с большими прекрасными глазами лица на художника повеяло простой и несокрушимой решимостью. Чувство неприятной, неопределенной зависти шевельнулось в Молочаеве, точно поежился под лучом света в глубине души его какой-то притаившийся мутный дух.

– Отдадите? – недоверчиво кривя губы, спросил он.

– Да, – ответил Ланде.

– Все? – с выражением нехорошей шутки опять спросил Молочаев.

– Не знаю, право, голубчик... – добродушно и раздумчиво, точно советуясь с ним, ответил Ланде. – Может, и все... как нужно будет.

– А у вас-то их много ли? – с деланной иронией сказал Молочаев.

«Оригинальничает тоже!» – подумал он и, чувствуя, что из зависти к нему-то думает неправду, озлобился.

Марья Николаевна внимательно смотрела на Ланде.

– У меня...

Ланде поправил фуражку и спокойно сказал:

– Не очень... четыре тысячи есть.

И опять Молочаев нехорошо подумал: «А эффектную папу выдержал!»

Потом нечаянно посмотрел на Марию Николаевну и забыл про Ланде.

– У вас лицо с картин Штука, когда вы смеетесь или задумываетесь! – сказал он восхищенным, искренним голосом, а глаза у него жадно заблестели.

Марья Николаевна засмеялась, и при луне на мгновение ярко и таинственно забелели белые зубы в резко очерченных полуоткрытых губах. Ланде посмотрел на нее и увидел, что лицо у нее точно – белое, сильное и нежное, и жестокое, как на картинах Штука. И вся она была такая высокая, стройная и сильная, и пахло от нее чем-то свежим и возбуждающим.

– Так все им и отдадите? – пряча лицо от Молочаева, спросила Марья Николаевна Ланде.

– Так и отдам! – радостно и ласково улыбаясь ее красоте и ясным глазам, сказал Ланде.

И голос у него был такой спокойно и мягкодушевный, что Марья Николаевна вдруг на мгновение задумалась. Какая-то глубокая, теплая и кроткая струнка чутко отозвалась где-то в самой глубине ее души.

«Милый он какой-то и странный... Блаженненький! – с улыбкой вспомнила она, как называл Ланде Семенов... – Нет, он не блаженный!»

Ей захотелось, чтобы это было не так. Не потому, что перед ней был именно Ланде, а потому, что теперь, в ночь, хотелось, чтобы тут близко, в живом и сознательном, засветилось торжественно и просто то могучее и прекрасное, что было вокруг, в лунном свете, в звездном небе, на торжественно-спокойно спящей земле.

– Мне сюда... – сказал Ланде нерешительно. Ему не хотелось уходить от них.

– Прощайте! – холодно и слишком быстро отозвался Молочаев.

Ланде подумал и, тихо улыбаясь, ушел.

«Пусть их!» – сказал он себе, и в душе у него было что-то широкое и миленное, как общее объятие.

Молочаев и Марья Николаевна долго шли молча, и торжественная тишина точно стояла в самой ее душе.

– Юродивый какой-то этот Ланде! – с нехорошим выражением сказал Молочаев. – Дурачок... А, может, напротив, далеко не дурачок! – скривившись, добавил он, и неожиданно просто и вдумчиво проговорил:

– У него лицо некрасивое, но очень интересное. Вы, кроме своего искусства, ничего не видите! – сказала Марья Николаевна, негромко засмеялась и повернула лицо к луне.

– Нет, я все красивое вижу! – возразил Молочаев, вкладывая в свои незначительные слова особый, близкий и понятный ей смысл.

– А кроме красивого?..

– А черт его знает! Ничего! – вздернул широким плечом Молочаев.

Марья Николаевна смеялась. Под белой кофточкой от смеха колыхалась грудь и при луне, резко очерченная глубокими влажными тенями, казалась точно голой. И вся она в ярком, синеватом свете была какая-то странная, резко красивая, не похожая на обыкновенную дневную женщину.

Молочаев широко открытыми глазами смотрел на нее и что-то властно тянуло и толкало его к ней.

«Ого!» – вспыхнуло у него в мозгу. Давно и любимо знакомое ему чувство силы и жадности задрожало у него в ногах и груди, и вдруг подняло над землей, и отделило от всего мира. Как будто и луна не светила и не было холодно, было жарко и пусто, и только она одна, резко и таинственно красивая, стояла ярко и отдельно, как звезда во мраке, и страшно

близкая, и страшно далекая. Молочаев наклонился и сбоку видел темные блестящие глаза, не смотревшие на него, как будто безмолвно ждущие и что-то таинственно обещающие.

Было тихо. Только где-то далеко, за домами, то черными и мрачными, то белыми и холодными, одиноко, тоненько тявкала маленькая собака: «Гав... гав... гав... гав... гав»!..

И что-то общее, странное и напряженное стояло во всем.

– Жить хочется! – тихо, а потом все громче и сильнее заговорила Марья Николаевна. – Что-то сделать хочется, любить хочется...

И вдруг засмеялась неожиданно и звонко.

– На луну прыгнуть хочется, как говорит Шишмарев! – вспомнила она.

И все стало просто и обыкновенно красиво.

– Спать, спать пора! – певуче прибавила она, – вот что! До свиданья!

– До свиданья... – еще дрожащим голосом ответил Молочаев и вздохнул глубоко и напряженно.

Они уже стояли возле калитки ее дома.

– До свиданья!..

Легкие шаги стихли за забором. Где-то раз и другой щелкнул запор; слышно было, как дверь тяжело осела внутрь, кто-то что-то сонно спросил, и опять стало тихо и пусто.

Молочаев долго шел по пустым улицам, залитым лунным светом, смотрел на далекий кружок луны и радостно ни о чем не думал.

III

Когда Ланде пришел домой, мать его сидела у стола и, видимо, давно ждала его ужинать.

В доме еще было уныло пусто после смерти отца Ланде, и ей было скучно, страшно и жалко себя. Ей казалось, что все в мире кончилось, умерло, и вся жизнь ее темной и роковой силой раскололась на две равные половины. То, что было скучно и тяжело прежде, она забыла, и ей казалось, что позади, страшно далеко было только мимолетное, радостное и теплое, все точно освещенное ярким и греющим светом, а теперь было пусто и холодно, впереди еще темнее и мрачнее, и хотелось иногда умереть. Только когда она вспоминала сына, что-то светлое мелькало перед нею и становилось осмысленнее все, что она делала.

– Ваня? – тихо спросила она из-за лампы.

– Я, мама! – отвечал Ланде, бросил фуражку на стол, подошел к ней и сел рядом, прижавшись головой к полному, но уже не упругому, теплому, как лежанка, плечу. Она погладила его по голове, по редким, очень мягким и светлым волосам, и подумала, что в нем – все ее будущее, вера, радость и смысл, вся эта непонятная, страшная жизнь.

– Хочешь есть? – спросила она и положила ему руку на плечо.

– Хочу, – сказал Ланде и стал тихо и нежно целовать ее

пухлую, с коротенькими сморщенными пальцами руку.

– Милый мой мальчик! – со слезами на глазах сказала мать.

Что-то прочное, давно знакомое и дорогое им ощущение протянулось между ними, и Ланде больше не мог не сказать того, о чем думал все время:

– Мама, что, собственно, осталось после папы... всего?

Мать несколько не удивилась этому вопросу, потому что Ланде еще не знал, в состоянии ли он продолжать теперь университет, и она подумала, что это затем.

– Немного, Ваня... – грустно сказала она, думая о другом. – Вот дом, пенсию мне назначили, слава Богу, недурную. А денег осталось всего четыре тысячи.

– Так я и думал. Мама, дом и пенсия, конечно, твои, а деньги позволь взять мне теперь, мне нужно... – сказал Ланде, и в ту же минуту в душе его появилось тяжелое, тревожное чувство.

– А, да... возьми, возьми... они ведь тебе и завещаны.

Мать задумчиво посмотрела на Ланде и провела рукой по его волосам.

– Что же ты с ними сделаешь? – тихо и ласково, как ребенку, улыбаясь, спросила она.

Ни на одну секунду у Ланде не было мысли не говорить ей. Он взглянул ей в глаза просто и ясно, лицо его просветлело, и ответил твердо и спокойно.

– Я, мама, хочу отдать их семьям тех рабочих, которых

прогнал Вершилов.

– Что? – переспросила мать, улыбнулась и сказала: – Глупый ты еще у меня, как ребенок, хоть и борода уже выросла...

Ланде печально улыбнулся и промолчал.

– Ты и в самом деле не вздумай этого! С тебя ведь станется! – вдруг совсем другим, тревожным и предостерегающим голосом сказала она. И еще раньше, чем договорила, увидела по его ясно и как-то чересчур широко раскрытым глазам, что он говорит правду. С минуту она молчала, с испугом глядя ему в лицо, а потом, больше стараясь уверить себя, проговорила:

– Глупости! А сам ты с чем останешься?

– Как-нибудь... – печально сказал Ланде, чувствуя, как между ними незримо встает непроницаемая, холодная стена.

– Глупости! – упрямо, точно защищаясь против чего-то враждебного и злого, повторила мать. И было это точно враждебно и зло для нее, ибо стирало на нет все, чем она прожила всю свою долгую, муравьино-кропотливую жизнь.

Ланде промолчал, и в сердце его точно оторвалось что-то кровавое.

Ночью, лежа в постели, он думал:

«Что делать? Мама не поймет и не захочет понять. Это будет для нее страшным горем; а я иначе не могу... Мы будем становиться на дороге друг другу, и так как я люблю ее, то буду уступать ей... А этого не должно быть! Значит, надо

уйти от нее!»

Огненное чувство отметило это решение; что-то больно сжалось в груди, и в глухой темноте он почувствовал себя одиноким, оторванным от всего. В первый раз в жизни он рвал с бесконечно любимым человеком, и перед разрывом стало ему холодно и страшно. Почему-то сгорбленный, умирающий Семенов встал перед ним и в душе поднялась незнакомая тревога.

«Вот я здесь лежу, – вдруг подумал Ланде, – один со своей верой в то, что надо разорвать, причинить горе и боль; а быть может, все-таки... ну, все-таки... кругом только пустота, только бесконечная пустота. Там где-то звезды, только звезды! И я не то, что песчинка, а меньше, бесконечно меньше, и жизнь моя в вечности не миг даже, а что-то... точно и нет ее совсем. А я живу, верю, сам уйду от... Что же я делаю тогда?»

Волосы зашевелились на голове у Ланде; мелкая дрожь назойливо била в левой ноге. На мгновение показалось ему, что он висит в какой-то холодной, мертвой и величаво страшной пустоте. И внизу, и вверху темно и пусто. Потом ему вспомнился тот котенок, которого при нем взял за шиворот кучер Вершилова, подержал и бросил оземь и убил на месте, – и Ланде показалось, что это он висит, взятый за шиворот, в пустоте, на один миг от смерти и беспомощно мотает лапками. И вот что-то швырнет его, страшно, как гром, ударит и будет тихо, неподвижно, темно. Чувство одиноче-

ства стало нестерпимо для натянутых нервов и мучительно хотелось, было нужно, чтобы кто-нибудь сказал, что он не один в огромном, как вечность, мире, что это не так.

Ланде судорожно откинул голову назад и, напряженно вытаращенными глазами глядя куда-то в черную бездну, повисшую над ним, напрягая все существо свое в страшном порыве, стал молиться кому-то: – Господи, Господи... Господи, Боже мой!

В голове у него в невообразимом хаосе крутились мысли, мелькали, сталкивались и путались между собою, и все тело и весь дух его томились, выливаясь в этой молитве. Кроме этих слов ничего не приходило ему в голову, но он всем существом напрягался в них, и в громадности этого напряжения, доходящего до границ, какие может вынести человек, выросло что-то могущественное, великое, что, казалось, не могло быть бесцельным.

– Господи, Господи!..

И уже чувствовалось ему, что Кто-то слушает. Властный и Спокойный.

Вдруг среди хаоса мыслей неожиданно, неведомо для него, одна стала выделяться, крепнуть, освещаться.

«Я молюсь, лежа в теплой кровати, а рабочие Вершилова спят теперь после тяжелого, беспросветного дня, на голом полу...»

Что-то остановилось и как будто выжидательно прислушивалось в нем и вокруг него. Было тихо, напряженно тихо,

и Ланде сам слышал, как судорожно и тяжело дышал он.

«Ну, так что ж из этого? Что я должен делать?» – спрашивал Ланде кого-то внутри себя.

И где-то в глубине его души явилось сначала незаметное, а потом все сильнее и сильнее оборванное желание встать и лечь на холодный пол.

«Но ведь не в том дело!» – сказал себе Ланде.

Но чувство стало огромным и начало томить его тоской.

«Господи!..» – попробовал бороться с ним и молиться опять Ланде, но призыв отозвался в его душе пусто и мертво.

Тогда Ланде с внезапным порывом быстро встал с кровати и опустился сначала на колени, а потом положил горячий лоб на холодный пол. Кругом было также тихо и темно.

Глаза у него вдруг стали мокрыми, и в душе стало тихо, точно все вздохнуло от разрешенного напряженного ожидания. И сейчас же Ланде вспомнил, что завтра он отдаст деньги рабочим, отдаст все, что может отдать, всего себя, самое радостное и светлое своей души. Как это будет, Ланде не знал и не думал об этом, как не думал уже и о том, что огорчит этим мать, восстановит против себя многих, затруднит свою собственную жизнь.

Полное и радостное чувство встало в нем и все вокруг наполнило чем-то громадным, светлым и ясным. Страх исчез, как дым. От пола было холодно, и все тело Ланде дрожало; но ему было приятно это, как будто этим он соединялся с кем-то и уже не был одиноким. А потом все вокруг: и твер-

дость пола, и холод, и тьма, и собственное полуголое, смешанно скорченное на полу тело, – все отошло куда-то и стало незаметным, ненужным.

– Господи, Господи мой! – с неутомимой силой снова молился Ланде.

И в этом напряженном, радостном состоянии, похожем на величайшее и глубочайшее счастье, он точно застыл, успокоился, стал забываться и заснул на полу, когда в окна стало смотреть что-то светлое, серое и прозрачное.

Было это в последний раз в его жизни, когда в нем мелькнуло сомнение, когда он смутился на мгновение в предвидении тяжелого разрыва. Потом в душе его открылась светлая и прямая дорога.

IV

Утром на другой день Ланде пошел в острог. За городом, на нежно-зеленом лугу, по широкому откосу реки резко белели белые стены и чернели одинокие солдаты, пронзая голубой воздух блестящими на солнце штыками.

Ланде проводили к смотрителю, у которого была борода по пояс, белая, седая, такая, какую пишут всегда на плоских суздальских иконах. Он вежливо уставился на Ланде и вопросительно пошевелил тонкими, недоверчивыми губами.

– Моя фамилия – Ланде. Вы меня, наверное, знаете?.. Я бы очень хотел повидать того Ткачева, которого третьего дня оправдали в суде. Я узнал, что он еще у вас...

Иконописный смотритель тюрьмы шевельнул костлявыми пальцами.

– Это можно... Он у нас еще. Видеть его, конечно, можно! – повторил он, как будто стараясь уверить себя самого. – Я вас велю проводить... Или, может, сюда позвать?

– Лучше я сам к нему пойду, – он, может, еще и не захочет ко мне. Я с ним, собственно, почти что незнаком.

Смотритель в упор посмотрел на Ланде.

– Сидоров, проводи! – вдруг сердито насупив брови, сказал он и перестал смотреть на Ланде.

– Что ж, я буду распоряжаться им, знаете?.. – доверчиво говорил Ланде. – Я хочу, видите ли, предложить ему...

– А это уж вы там с ним поговорите! – еще сердитее буркнул зритель и стал трогать бумаги на столе.

Ланде стало стыдно за зрителя, за его грубость и холодность, и он заторопился.

Старый, бритый и щетинистый солдат, в черном мешковатом мундире, разорванном под мышками, шевельнул в сторону Ланде обшлагом с потертыми нашивками и сказал:

– Слушаю, ваше благородие!.. Пожалуйте, господин!

Ланде пошел за ним на двор.

Двор был чистый и большой, но на нем не росла трава и было душно и жарко, несмотря на мягкое весеннее небо, сверкавшее вверху. Пахло кислыми щами, швальней и приторным, противно-нудным запахом отхожего места.

– Нехорошо у вас тут... – сказал Ланде.

Сидоров оглянул двор маленькими мужицкими глазками, как будто с веселым недоумением отыскивая, что же тут было нехорошего.

– Так точно! – сказал он все-таки, так быстро и охотно, как будто ему доставило большое удовольствие согласиться с Ланде.

Ланде посмотрел, как тяжело и крепко шагал он корявыми мужицкими ногами и прибавил:

– Скверная у вас тут служба: людей стеречь!

– Так точно! – так же охотно ответил Сидоров.

– Лучше бы землю в деревне пахать! – продолжал Ланде, жалея его.

– Что ж, – сказал Сидоров, – и землю пахать хорошо.

От его охотного и веселого голоса и Ланде стало весело.

– Отчего Ткачева до сих пор не выпускают? Ведь его уже оправдали?

– Не идет ен сам! – улыбаясь, ответил Сидоров.

– Почему? – удивился Ланде.

– «Некуда мне, говорит, идти...» История! Чудак человек!

Ланде задумался, и скорбная тень легла ему на лицо и на душу.

Они уже прошли двор и пошли по узкому сводчатому коридору; тут было странно темно после яркого солнечного света на дворе; везде был холодный, грязно-белый камень и зеленое старое железо.

Из двери в дверь безучастно и лениво ходили грязно и безобразно одетые люди, молодые и старые, но все с одинаково бескровными, нездоровыми, опухшими лицами. Недружелюбно наглыми глазами они провожали Ланде, останавливаясь у стен, а потом безучастно, как тени, уходили куда-то в глубь сырых коридоров, и было что-то опасное, страшное в этих бессмысленных, равнодушных движениях. В одной камере кто-то старался петь, и было видно, что он нарочно тратит на это больше сил, чем надо, и самое пение походило больше на проклятие, – такой дикий был мотив и столько в нем скверных слов.

– Ткачев! – споро крикнул Сидоров вдоль по коридору.

– Эй, Ткачев!.. Эй... ты!.. Тебя!.. Чуешь! – нестройно закричали несколько голосов, точно обрадовавшись предложению прокричать не зря, а для какой-то надобности.

На пороге одной камеры показался человек в большой, не по росту, арестантской куртке, худой, черный. Смуглое, скуластое лицо его смотрело на Ланде сумрачно и недоверчиво.

– Я к вам... – доверчиво улыбаясь и точно стараясь этой улыбкой стать ближе и понятней Ткачеву, сказал Ланде и протянул руку.

Ткачев неловко, как будто и не удивившись его приходу, подал свою.

– Я с вами хотел поговорить... – прибавил Ланде. Ткачев еще недоверчивее посмотрел на него, прикусил тонкую, сухую губу, потом нехотя отступил в сторону и назад шага два и сказал надтреснутым, глуховатым голосом:

– Я тут живу... вот...

Ланде вошел за ним в одиночную камеру. Это была сводчатая комната, такая низкая, сырая и затхлая, что странно было думать, что в ней живет большой человек, а не какое-нибудь маленькое, трусливое животное.

Ткачев подумал, нахмурился и подставил Ланде табуретку.

– Садитесь, пожалуйста... – сказал он с неопределенным выражением.

Ланде сел и мягко смотрел на Ткачева.

– Что вам от меня угодно? – беспокойно хмурясь под его

взглядом, спросил Ткачев.

Когда он хмурился, лицо его принимало не суровое, а жалкое выражение, какое бывает у обиженных детей.

– Мне ничего не угодно... – добродушно возразил Ланде. – Я просто узнал о вас и пришел.

– Зачем же? – недоверчиво пробормотал Ткачев.

– Так. Мне стало больно, что вы так озлоблены и несчастны; я и подумал, что, может быть, вам будет легче, если я приду...

– Сострадание?... Не нуждаюсь! – отрывисто и глухо возразил Ткачев и отвернулся к окну, перебирая по краю стола грязными худыми пальцами.

Ланде тихо взял Ткачева за руку.

– Зачем вы так говорите?... Ведь это неправда... Ведь вы и несчастны, и озлобились, и украли только потому, что мало видели сострадания и любви в своей жизни. Я пришел к вам без всякой задней мысли, с открытым сердцем, с искренним желанием вам чем-нибудь помочь... Зачем же вы меня обижаете?

Ткачев пугливо посмотрел на руку Ланде, которая мягко и доверчиво держала его за черные пальцы, и вдруг покраснел.

– Никого мне не надо... – тихо, но упорно ответил он и незаметно убрал руку. – Все это одни глупости...

– Почему? – болезненно подняв брови, спросил Ланде.

Ткачев повернул к нему голову и презрительно через силу усмехнулся.

– Ваш наивный вопрос ставит меня в глупое положение... – бравирующим тоном, в котором сквозь неестественную витиеватость ясно слышалось что-то озлобленное и горькое, сказал он. – Вам... а впрочем, с какой это стати я с вами разговаривать буду! – вздернул он плечами и отвернулся к окну, на котором, неслышно ворошась за стеклом и решеткой, гулили голуби.

– Вот кормлю их... друзья! – помолчав, неожиданно проговорил он и конфузливо улыбнулся одним краем тонких страдальческих губ.

– Голубей?.. Да!.. – обрадовался улыбке Ланде и широко улыбнулся сам. – Конечно, друзья! Это ведь неправда, что вечная вражда и необходимость истреблять... Такой необходимости не может быть, не должно быть, не должно быть!.. Надо, напротив, защищать... все одного и один всех... и быть друзьями, братьями даже! Я, знаете, верю, что все ошибка, что все не так, и все надо поправить, докончить... и что это-то и есть миссия человека!.. Я верю!..

– Не понимаю я вашего красноречия! – упрямо и угрюмо, но, как показалось Ланде, нарочно так ответил Ткачев.

Ланде улыбнулся.

– Я не умею говорить лучше... Разве вы меня, правда, не понимаете? Мне кажется, нет... Я хотел сказать, что нет злобы и ненависти самих по себе, что это только следствие работы над миром, и их надо устранить...

– Ишь, – насмешливо вставил Ткачев. – Легко.

– Нет, не легко... трудно, страшно трудно! Но не невозможно: нет такой ненависти и злобы, которых нельзя было бы победить!

– К чему вы мне все это говорите? – остро перебил Ткачев.

– Я к тому говорю, – заторопился Ланде, точно боясь, что Ткачев уйдет, и опять беря его за руку, – что вижу... мне кажется, что вы перестали верить в эту возможность, а поверили в то, что зло вечно, что зло везде торжествует и что надо не бороться с ним, а служить ему! А это ужасно!.. Это не так. Вы просто упали духом, озлобились, и теперь вы только искусственно сгущаете атмосферу вражды, воображая, что, наконец, научились дышать по-настоящему... Ах, Ткачев, какая это ужасная ошибка! И ведь чувствуете ее вы: ведь вам тяжело дышать, трудно? Да?

Ткачев угрюмо молчал и дышал тяжело, через нос.

– Не надо вражду встречать враждою! – говорил Ланде, блестя открытыми глазами, как будто не думая о том, что говорит, точно и не говорил, а пел, выливая песню прямо из сердца: – Этим она побеждается! И никогда не чувствуется такой радости, такой легкости, такого удовлетворения, как тогда, когда вы побеждаете вражду в себе, не отвечая ей на чужую вражду!.. Разве это чувство не указывает, где путь?.. Какая радость это чувствовать! Каких страшных мук нельзя перенести за эту радость!.. Ну, пусть к вам люди относятся дурно, жестоко даже, пусть условия вашей жизни тяжелы, пусть это так; но ведь внешние условия жизни и не могут

быть совершенно одинаковыми у всех людей, и с этим так легко, в сущности, мириться, если...

– А вы были когда-нибудь голодны? – вдруг язвительно перебил Ткачев. – А, господин Ланде?

– Ах, Боже мой, зачем вы говорите так! – с мольбой, вонзавшейся в душу, зашепшил Ланде. – Ведь вы же знаете, что и голод, и муку, и самую смерть можно перенести за идею... Мученики же умирали в страшных мучениях...

– Так то мученики! – вздернув головой, возразил Ткачев.

– Разве вы думаете, Ткачев, что все мученики были какими-то особенными людьми? Нет, и я, и вы, и всякий самый маленький человек все перенесет за идею, раз только эта идея будет его идеей, его чувством! Правда ведь?

– Может, и правда... – угрюмо ответил Ткачев.

– Правда! – радостно подхватил Ланде, и все лицо его осветилось. – Правда есть в человеке, эта великая сила, именно в человеке она есть! А раз так, значит, он все может, всякий все может!.. Против любой силы может бороться и победить... Почему вы украли, Ткачев?

Ткачев вздрогнул, быстро стал бледнеть, так что ясно было видно, как постепенно кровь отливает от лица, и широко раскрытыми глазами, из которых выглянула страшная мучительная рана, с бешенством уставился на Ланде:

– А вам какое дело? – хрипло проговорил он, вытягивая к нему худую черную шею.

– Я знаю, почему, – вздрогнувшими губами, но твердо

проговорил Ланде, – и хочу об этом говорить...

Ткачев неподвижно и жутко смотрел ему прямо в глаза. Ланде близко видел его темные зрачки, ставшие совсем круглыми, и сквозь них смотрела на него бессильная, затаившаяся навсегда вечная обида и ненависть. Ланде почему-то подумал, что если он моргнет, то Ткачев или ударит его, или плюнет в лицо. Но он не моргнул.

Ткачев вдруг опустил глаза.

– Ничего вы не знаете! – сказал он тихо, грубо и с вызовом.

– Нет, знаю! – твердо возразил Ланде. – Я ведь знаю всю вашу жизнь, мне говорили о ней много... Да вы и сами рассказывали много, когда говорили в суде... Мне передавали. Вы так правильно и ярко описали ее, что трудно было бы...

Неумное, хвастливое выражение появилось на лице Ткачева.

– А вы думаете, только вы, господа студенты, говорить умеете? Нет, прошли те времена! Теперь... – некстати заговорил он.

– Ведь вы потому и украли, что никогда вором не были... – не слушая его, продолжал Ланде. – Я знаю, вы всегда жили страшно тяжело, но не только не крали, вы даже не пили никогда, не курили... Нашли же вы в себе силы тогда все учиться? Я знаю... Я знаю и как вы изучали Евангелие, как вы перестали мясо есть...

– Глупости все это! – с неестественным, деланным пре-

зрением возразил Ткачев.

– Нет, не глупости! Это великое дело, когда человек так работает над самим собой! На это надо большую, громадную силу. И она у вас была... Отчего же ее теперь нет, Ткачев? – с мольбой, хватая его за руки, говорил Ланде. – Отчего вы не боролись до конца?

– До какого же такого конца? позвольте вас спросить, господин Ланде? – скривив все лицо в злорадную и вместе жалкую гримасу и вырывая руки, спросил Ткачев.

– До победы, Ткачев! – вставая к нему, ответил Ланде. – Человек все может победить за свою идею; а у вас была своя идея, что все люди одно, и жизнь, чувство должно быть одно и хорошо! И вы бы победили, Ткачев, вы – сильный человек! Почему же вы упали духом, что случилось?

Ткачев молчал. Замолчал и Ланде в странном трепете. Страшный подъем, с которым он говорил, обессилел его. Светлые волосы прилипли ко лбу, губы и руки дрожали, и только глаза по-прежнему светились любовью и жалостью.

Ткачев довольно долго молчал.

– Слушайте, господин Ланде, – заговорил он, подняв голову, но не глядя на Ланде: – вы вот говорите, что знаете меня, и говорите верно... знаете... всю мою разнесчастную жизнь и все мои горькие страдания вы знаете... да... Только ведь и я вас знаю, господин Ланде, не хуже вашего! Вот-с! Вы, господин Ланде, очень хороший человек, – о вас все так говорят, и я знаю. Лучше вас у нас в городе, а может, и

нигде, нет... Я так полагаю, что вы, может, святой человек, потому что душа у вас чистая... ровно стекло! А позвольте вас спросить: где же вы-то были, когда... все это происходило со мной?..

Ланде поднял руку.

– Нет, позвольте теперь мне сказать! – крепким, злым голосом перебил Ткачев. – Много вы в моей жизни значили, господин Ланде, если правду сказать: я вас давно знаю; мальчиком вы еще были, а и я не Бог весть каким взрослым был, когда... Очень много вы для меня тогда значили! А вы помните, господин Ланде, как я к вам приходил за книгами? Еще вы ехать собирались, в передней чемодан увязывали... Я до того, чтобы увидеть вас, три года ждал, а что вы мне сказали? Ланде весь задергался в мучительном волнении.

– Ткачев, Ткачев, это правда... только ведь... – жалобно закричал он.

Ткачев повернулся к нему черным каменным лицом и режущим голосом, сквозь зубы проговорил:

– А вы мне сказали, что, мол, едете... некогда вам, после обещали поговорить! Только и всего... А я от вас тогда слова на всю жизнь ждал... Что-нибудь одно: или вы меня не поняли, проглядели, что во мне было настоящее, или видели, да свой отъезд, дело выше поставили. Так, господин Ланде? Или, может, я не понимаю?..

– Богом вам клянусь, – вскрикнул Ланде, – что, если бы я понял тогда, я остался бы... Вы сами виноваты, Ткачев!

Надо было приступить прямее, сильнее, постучаться в душу прямо! Ведь вы же видели, что я просто не понимаю!

Ткачев медленно и зло усмехнулся.

– Видел, в том-то и дело, что видел. Это-то меня, может, раз и навсегда и с дороги-то сбило.

Ланде широко раскрыл глаза.

– Если бы вы, господин Ланде, поставили свой отъезд по делу, интерес свой важнее того, что человек к вам со всею душою пришел, я просто, может, плюнул бы на вас и сказал: «Дрянь человечешко, такой, как и все, дрянь!» А то нет... Увидел я, что вы просто меня не понимаете, не видите моей муки...

Ланде мучительно сжал пальцы.

– Ведь это может со всяким человеком случиться! Ведь бывает такое состояние, точно душа в нем спит... Вот и я спал тогда. А вы... отчего вы не разбудили, не растолкали?

Опять Ткачев также медленно и зло усмехнулся.

– А я подумал так, господин Ланде... – Его глухой голос зазвучал торжественностью, долгожданной, из души выболевшей исповедью. – Ведь вот, человек – самый лучший, другого такого, может, во всю жизнь не встретишь, а достучаться в душу и к нему трудно...

– Не всегда же, Ткачев...

– Ну, не всегда... Так ведь это же – во-о-н какой человек! А вот и его иной раз толкать нужно, чтобы он чужою болью поболел!.. А что ж тогда другие-то?.. Ведь, пожалуй, и не

растолкаешь... а, как вы думаете? – с насмешкой спросил Ткачев.

– Не может быть! Надо толкать... можно!

– Да ведь этак всякого человека расталкивать и сил не хватит... А жить же когда? А?..

Ткачев торжествующе замолчал. Ланде светло улыбнулся и тихо заговорил:

– Ткачев, да ведь в этом же и жизнь!.. Отзвук этого стука и есть счастье, счастье самое захватывающее, великое счастье – слышать ответ и сознавать, что если даже мы и не достучимся во все сердца, в одно общее человеческое сердце, то ведь не умрет начатый нами стук, будут стучать другие, за нами, пройдет он из сердца в сердце, и когда-то... Ткачев...

– А, ха-а! – хрипло и громко не то захохотал, не то закричал от боли Ткачев. – Фью! – резко свистнул он.

– Вам кажется это смешным, Ткачев? – с широко открытыми глазами спросил Ланде. – Вы не верите?

– А вы как думали?.. Так это, значит, одной мечтой жить, в страдании счастье искать?.. А сам-то, сам... так и умирай, как жил? Как будто и не стучался? Го-го! И пить – умереть, и не пить – умереть! Нашли дурака, как же! Энтю кой-кому лучше не надо!

Голос у него стал какой-то гокающий, нахальный и пустой. И если у Ланде была надежда, что Ткачев поймет его, то в эту минуту, под звуки этого голоса сразу, невидимая, неодолимая, стала между ними непроницаемая стена, и холод ее

проник до самых сердец обоих. И то, что произошло дальше, было уже дико, нелепо и безобразно.

– Ткачев, – робко и растерянно заговорил Ланде, – опомнитесь... Разве вы не понимаете?.. Уйдите отсюда, – на вас это ужасная обстановка повлияла!

– Куда идти-то? – издевался Ткачев.

– Куда-нибудь... ко мне... Я вам денег принес... Вы возьмите и уедете отсюда, забудете; а когда пройдет время, вы опомн...

– Де-нег? – сощурившись, переспросил Ткачев и вдруг страшно грубо, резко и отчаянно крикнул:

– Не надо мне твоих денег! Деньгами заткнуть хочешь! Убир-райся!

– Ткачев, Ткачев... за что? Как вам стыдно будет потом! Милый Ткачев, ведь я... – с горькой мукой говорил Ланде и судорожно хватал его за руки.

Но Ткачев с силой вырвался, как-то с размаху повернулся, быстро вышел из камеры, но сейчас же и вернулся. Он остановился на пороге, несколько секунд неподвижно и пристально смотрел на Ланде, потом тихо проговорил, точно про себя:

– Блаженный... – И еще тише, но язвительно и зло, как будто источая тонкий яд, прибавил: – Святая душа на костылях... дурак!..

Потом по-солдатски резко повернулся и пошел вдоль коридора.

– Ткачев! – позвал Ланде. – Ткачев!
Но Ткачев не отозвался и ушел.

V

Поздно вечером Шишмарев пришел к Ланде. Маленький студент с резким голосом и торопливыми движениями, весь находился под впечатлением решения Ланде отдать деньги. Но он чувствовал себя как-то странно: то, что хотел сделать Ланде, восхищало его и наполняло душу умилением, захватывающим чувством необыкновенного подъема; но в то же время ему было странно и неловко, точно сам он делал что-то дурное, чего не следовало бы делать.

– Да я-то, собственно, при чем? – успокаивал он себя; но все было также неловко.

Он торопливо вошел в комнату, пожал Ланде руку и сказал, почему-то избегая смотреть ему прямо в глаза.

– Ну, вот и я...

Ланде сейчас же полез в стол и достал деньги – четыре пачки длинных, красивых бумажек, сухо шелестевших в его тонких пальцах.

– Я хотел тебе сказать... – вдруг, точно его толкнуло, заговорил Шишмарев резким, но смущенным голосом. – Может, не все?..

Ланде, как будто думая о чем-то другом, просто сказал:

– Все равно, отдавать, так все... Он помолчал, подумал и прибавил:

– Леня, я с тобой не пойду, ты сам раздай; я скажу тебе,

почему: мама страшно сердится на меня за эти деньги... надо успокоить, поговорить...

Шишмарев нерешительно взял деньги.

– Вот, видишь, и твоя мать сердится... – неуверенно возразил он.

Ланде бледно, но твердо улыбнулся.

– В таких случаях не надо думать о матери! – серьезно ответил он.

Шишмарев все не двигался, и все более и более становилось ему неловко.

– Я, право, не знаю... – говорил он. – Как же я сам...

Ланде опять улыбнулся, но уже светло и ласково.

– Как-нибудь... – махнул он рукой. – Сердце подскажет. Да и не Бог весть какое уж это трудное дело.

– Ну, как знаешь! – все так же нерешительно согласился Шишмарев и взял фуражку. Почему-то ему вдруг до слез стало жалко Ланде. В комнате было как-то неуютно, пусто и веяло чем-то монашеским, одиноким. У Ланде был больной и унылый вид. И против воли Шишмареву было странно и непонятно, что у человека, делавшего такое хорошее, большое дело, не было на лице радости и гордости.

«Станный он какой-то!» – подумал Шишмарев, и эта мысль, как-то незаметно для его сознания, ослабила в нем чувство к Ланде и его поступку.

– До свидания, – сказал Ланде.

– Ваня! – крикнул за дверью дрожащий и странный голос

матери Ланде.

Губы Ланде страдальчески вздрогнули.

– Иди лучше! – тихо, но твердо сказал он Шишмареву.

Шишмарев мялся. Деньги почти физически жгли ему руки, точно уворованные.

– Просто это надо оставить! – сказал он с легким оттенком смутной, неприятной досады. Ланде покачал головой.

– Нет, – сказал он, – это надо сделать. Там страшная нужда, горе... а маме только кажется, что она страдает... Все равно эти деньги я должен был истратить на себя.

Мать Ланде вошла. Всегда мягкое, освещенное печалью и добродушием старое лицо ее было возбуждено, зло и жестоко. Дышала она тяжело и часто, так что это дыхание было слышно по всей комнате.

Ланде быстро пошел ей навстречу, взял за обе руки и притянул их к груди.

– Мама... – твердо сказал он, заглядывая ей в глаза. – Не надо!

Шишмарев неловко поклонился. Мать выдернула руки.

– Что не надо? – резко и громко, озлобленным, срывающимся голосом, по которому было видно, как много она кричала и плакала, заговорила она. – Ты права не имеешь! Отец работал всю жизнь не для каких-то нищих! Дурак!

Шишмарев стоял красный и растерянный, машинально держа деньги перед собою.

– Иди, Леня!.. – печально, но спокойно сказал ему Ланде.

Мать дико вскочила и загородила дорогу, хотя Шишмарев и не трогался с места. Седые волосы спутались у нее на лбу, и было что-то хищное, нечеловеческое в округлившись, ополоумевших глазах.

– Это вы его сбиваете! – со страшной злобой закричала она. – Как вы смеете? Я жаловаться буду! Это грабеж... Обрадовались!

– Я... – растерянно и оскорбленно начал Шишмарев.

– Отдайте! – взвизгнула старуха и быстро выхватила из рук Шишмарева деньги, по-птичьи согнув пальцы, сразу ставшие костлявыми и крючковатыми, как когти.

Вдруг страшная злоба и обида вспыхнули на лице маленького студента.

– Да возьмите, пожалуйста! – вздернув плечами и сжав кулаки, резко вскрикнул он так громко, что слышно было на улице.

И сразу все стихло. Старуха смотрела на него круглыми, странными и страшными глазами. Шишмарев повернулся к Ланде, пошевелил губами, задохнулся, и судорога задергала его левый глаз и щеку. Его душила обида и гнев, и были они против Ланде.

– Т... так нельзя... – проговорил он. – Прощай, я пойду... ххм...

– Иди, Леня... – также печально и также спокойно ответил Ланде. – Не сердись на меня!

Шишмарев двинулся, растерянно скривился, точно хотел

еще что-то сказать, но не сказал и ушел.

Тихо стало в комнате. Мать Ланде крепко держала руку глубоко в кармане вместе с деньгами, зажатыми в ней, а Ланде смотрел на нее печально и ровно открытыми глазами. Их было двое в маленькой комнатке, но каждый чувствовал себя как будто был один.

– Ты, пожалуйста, выкинь из головы эту дурь! – все еще сдавленным голосом, наконец, проговорила мать.

– Это не дурь... – покачал головой Ланде.

– Кого ты этим думаешь удивить? – язвительно продолжала мать. – Как тебе не стыдно, – до чего довел! – вдруг жалко и слезливо проговорила она, вынула руку из кармана и заплакала.

– Это не я довел... – возразил Ланде. Мать плакала. Ланде молчал, горько сжав руки. В комнате было темно и грустно.

– Сам мне потом спасибо скажешь! – уже тихо проговорила мать.

– Не знаю. Слушай, мама, раз ты мне не даешь денег, я не буду требовать. Пусть они будут тебе... Острая, горькая обида кольнула мать в сердце.

– Что-о ты говоришь! – со слезами негодования крикнула она, укоризненно всплеснув руками. – Да разве я для себя!.. Зачем они мне?.. Мне умирать пора... Что ты говоришь, опомнись!

Ланде помолчал.

– Я знаю... – сказал он. – Но я не то хочу сказать. Я ведь,

мама, люблю вас, страшно люблю. Но вы думаете, что, сберегая для меня эти деньги, спасаете меня от гибели; а я думаю, что этим вы меня губите. Неужели вы думаете, что я возьму эти деньги для себя только?.. Все равно, этим или другим, а я отдал бы деньги тем, кому чувствовал бы, что их должен отдать... А потому...

– Да что ты, наконец, с ума сошел, что ли? – крикнула мать, и голос ее прозвучал негодующе и недоуменно. – Да чем же ты жить будешь?

– Как-нибудь проживу, – об этом не надо думать, – убежденно ответил Ланде.

– На моей шее вечно будешь сидеть? – ядовито и грубо спросила она.

– Нет, – со спокойной печалью возразил Ланде, – я уйду от вас. Нам трудно жить вместе, не надо: вы не дадите жить мне так, как я хочу; а я буду мучить вас... Лучше я буду жить один.

Мать широко раскрыла глаза, и кровь медленно отлила с ее лица.

– Ваня... что ты говоришь? – с ужасом пробормотала она, и лицо и голос ее стали растерянными и жалкими.

Ланде тихо вздохнул, подошел к ней, стал на колени и нежно стал целовать ее мокрую от слез руку.

Она смотрела на его голову с мягкими слабыми волосами и чувствовала, что нечто громадное, неодолимое надвигается на нее.

– Не плачь, мама!.. Так лучше будет... – тихо говорил Лан-де убежденным, ровным голосом.

VI

Марья Николаевна сидела на открытом окне и пристально, задумавшись, смотрела на длинную улицу, освещенную по одной стороне зеленовато-голубым светом луны и глубоко-темную по другой. Далеко-далеко ярко и холодно мерцали звезды, темные деревья, как окаменелые, стояли в лунном свете. Было пусто и холодно.

Издали слышались одинокие шаги, отчетливо и тихо постукивавшие по доскам тротуара. Кто-то невидимый шел в ночи, ближе и ближе, и было странно и таинственно слышать эти шаги, точно звуки сами приближались к звонкой холодной тиши, неся какую-то свою одинокую тайну.

Марья Николаевна далеко высунулась в окно и, когда в темноте стала рождаться черная тень, пригляделась и, узнав, позвала:

– Иван Ферапонтович, это вы?

Ланде встрепенулся и остановился, потом радостно улыбнулся и подошел.

– Куда вы идете? – приглядываясь к нему, спросила девушка.

– Домой... к Семенову... Я ведь теперь у него живу... пока... – устало и слабо ответил Ланде.

Он стоял у самого окна, и девушка близко видела его осунувшееся, с неестественно большими глазами лицо. Чувство

любопытной жалости, то чувство, которое Ланде постоянно пробуждал в ней, поднялось у нее в груди, такое же чистое, свежее и сильное, как и сама молодая грудь.

– Иван Ферапонтович... – мягко, боясь его, спросила она. – Неужели это правда, что вы совсем разошлись с матерью?!

И сейчас же она испугалась и заторопилась, точно ей стало больно от вырвавшегося вопроса.

– Я потому вас спрашиваю, что мне так жаль и вас, и вашу мать... и ведь вас можно спрашивать обо всем... правда?

– Меня можно спрашивать... – машинально ответил Ланде, видимо, не замечая ее испуга, и сказал грустно и вдумчиво: – Я не разошелся с нею, – я никогда и ни с кем не расходился... Маму я люблю и теперь, может быть, даже больше, потому что она несчастна... Я только ушел жить один... Тут приходилось выбирать что-нибудь одно: или жить не так, как я верю, или уйти... Я думаю, и вы сделали бы тоже... так...

Марья Николаевна посмотрела на него задумчивыми и теплыми глазами.

– Нет, я так не могу... Куда же мне! – слабо улыбнулась она.

– Знаете, – не слушая, продолжал Ланде, и в голосе его зазвучала нота торжественной печали, – легче пожертвовать жизнью, чем... А впрочем, не умею я этого высказать! – вдруг засмеялся он коротко и печально и замолчал.

– А-а!.. – вдруг тонко и протяжно закричал кто-то далеко

за садами; а потом стало еще тише.

Ланде прислушался и вздохнул.

– Где же вы были? – спросила, помолчав, Марья Николаевна.

– В монастыре, – ответил Ланде.

– Богу молились? – шутливо спросила девушка.

– Нет, я так... там так тихо... – серьезно ответил Ланде, как будто не осуждая и не принимая участия в ее шутке.

– А вы в Бога верите? – с молодым и девичьим легкомысленным любопытством спросила она. Ланде посмотрел на нее.

– В Него нельзя не верить! – тихо и убежденно, как бы удивляясь, возразил он.

– Почему нельзя? А вот я не верю! – немного склонив голову и прислушиваясь к красивым звукам своего голоса, сказала Марья Николаевна.

– Не говорите так! – печально и горячо возразил Ланде. – Это неправда. Все верят, и вы верите...

Он вдруг протянул руку и взял ее за тонкие нежные пальцы.

– Вы только посмотрите, и вы увидите, что нельзя не верить... Посмотрите в небо, посмотрите! – с какою-то горячей мольбой потребовал он.

Марья Николаевна невольно подняла голову, и большие глаза ее снизу казались Ланде молящими и прекрасными.

Не было конца небесной шири и не было дна сияющей

глубине. Чем больше она вглядывалась, тем дальше и выше бесконечно уходили звезды и уничтожались бессильно в необозримом просторе. Казалось, таинственно-торжественное молчание вечным холодом остановило и сковало какой-то неведомый, безграничный размах. Нечеловеческая сила подняла в пространстве ужасный непроницаемый прозрачный свод и застыла в страшном напряжении.

– Там страшно! – внезапно вздрогнувшим голосом проговорила Марья Николаевна. – И вдруг все это рухнет... Господи, можно ли вообразить, подумать, что бы было!..

Ланде ласково и тихо засмеялся и стал гладить ее по руке.

– Нет, не рухнет! – сказал он. – Посмотрите, какая ужасная, бесконечная громада, а мы такие маленькие, такие маленькие, что даже не можем видеть того бешеного вихря, в котором все несется!.. Вы поймите это: как мал должен быть человек! В каждый миг, в каждую миллионную часть мига страшное движение уносит громаду мира в непонятную даль; а мы видим мертвенную неподвижность... Какой должен быть ураган бесконечных звуков; а нам чудится торжественная тишина!.. И все-таки мы, крошечные, идем так свободно, как будто все эти громады уступают нам дорогу! Как будто нас проводит рука, способная провести сквозь самое стремление! Самая малая частица его могла бы стереть нас, но человеческая история идет и развивается так свободно, как будто она – центр всего. Для того чтобы такое маленькое, слабое так шло по своему пути, так уверенное, что дойдет до

конца, – надо, чтобы оно было нужно в мире и чтобы воля мировая охраняла его до той поры...

Ланде помолчал, посмотрел блестящими глазами вверх и сказал:

– Не кажется ли вам, что все застыло и ждет, пока здесь, на земле, не совершится то, чему должно быть... А когда совершится, то вдруг все двинется дальше, здесь разрушится, там создастся, засветит какой-то новый свет, появятся новые формы, новое движение.

– Иногда кажется... – тихо ответила Марья Николаевна.

Ей было странно жутко. Что-то встало перед нею огромное, как бы из вечности в вечность и из пространства в пространство. Тишина ночи казалась какой-то торжественно-страшной музыкой.

– Как это чудесно, как это сложно! – с каким-то таинственным восторгом говорил Ланде. – Самая вечность и бесконечность, в которых нет ни малого, ни большого, в которых нет времени, которыми уравнивается миг жизни миров с мигом жизни одного человека!.. Разве это холодный мертвый порядок машины, созданной бездушным физическим законом? Это страшный трагизм творчества, всеобъемлющего, в котором нет деления ни для чего! Есть Дух этого творчества. Душа мира... Нельзя не верить, нельзя не видеть!.. не слышать, не чувствовать!..

Откуда-то ледяной, мистический ужас стал заползать в душу Марьи Николаевны. Она нервно съежилась и глаза у

нее округлились, как у кошки, увидевшей что-то непонятное, страшное.

Ланде замолчал, и стало тихо, так тихо, что, казалось, будто кто-то идет по земле, металлически, звонко ступая тяжкими, таинственными шагами.

– У меня в ушах звенит! – вся дрожа, проговорила Марья Николаевна. – Холодно... Прощайте!

Она откинулась в черную тьму комнаты и затворила окно, слепо блеснувшее тусклым стеклом.

Ланде остался один и долго стоял посреди пустой улицы, блестящими глазами глядя вверх между звездами, в темно-синюю холодную глубину.

VII

Закутанный в простыню, из-под которой виднелись тонкие голые ноги, и похожий на плохо наряженного привидением, Семенов отворил дверь Ланде.

Для глаз Ланде, все еще как бы полных влажного простора и чистого блеска звезд, странен был желтый сухой свет лампы, тоненькая, хрупкая мебель, сбитая кровать с тощими горячими подушками и сухое, желтое, несчастное лицо Семенова, и его тоненькие, как палочки, белые ноги.

Семенов сидел на кровати, и страшен был его вид. Землистое сморщенное лицо его, жидкие волосы, смоченные потом и прилипшие к обтянутым сухой кожей вискам, тощее тело, напяленное на узких острых лопатках, все говорило простым и страшным языком об одинокой, никому непонятной во всей громадности своего горя, бессмысленной болезни, скрывшейся внутри одного человека и заключившей там, возле места разрушения, весь его мир – страдание, отчаяние и ужас.

Семенов посмотрел на Ланде расширенными, блестящими лихорадкой глазами и, когда Ланде сел возле него на постели, проговорил, путаясь:

– Хорошо, что пришел... Скверно... страшно чего-то... было. Скоро я умру уже, Ланде.

Казалось, он говорит не Ланде, а кому-то страстному и

огромному, томящемуся в глубине его больного, страдающего тела, убеждая его в неизбежном и еще невообразимом конце.

Острая, как боль, жалость охватила Ланде: он всем телом повернулся к Семенову и обнял его обеими руками за худые, пахнущие холодным потом, плечи. Сквозь истертую, жидкую рубашку чувствовалось горячее сухое тело и кости, острые и страшные.

– Вася... милый мой, бедный! – заговорил он и стал убеждать его в том, во что верил сам любовно и наивно: что не может быть жизни только для земли, что слишком громадны усилия и страдания, чтобы они умирали, не поднявшись от земли, что непонятно, убого и бессмысленно было бы тогда существование духа человеческого, с его светлым разумом и гибкой, богатой мыслью, в бесконечно великом, стройном и вечном мире.

Ланде говорил долго, торопясь, как будто боясь, что не успеет своими словами остановить, не успеет загроздить пути тому темному, громадному, что неуклонно надвигается и медленно овладевает страдающей душой. Семенов сидел неподвижно, скорчившись и глядя в упор на огонь лампы. Тонкие потрескавшиеся губы его были плотно сжаты. Сбоку Ланде был виден блестящий круглый глаз его, отражавший желтый огонь лампы, и по временам ему казалось, что Семенов его не слышит, и Ланде хотелось закричать ему в ухо, позвать, потрясти за плечо, с великою скорбью и отчаянием.

И с ужасом видел он, что это одинокое страдание остается глухо и замкнуто, как крышка железного гроба, холодного и немого, таящего в себе страшную тайну, ведомую ему одному.

– Вася, ведь я знаю, ты верил! – с мукой говорил Ланде. – Помнишь, как мы были счастливы и светлы, когда говорили о Боге, о вечной жизни, о вечной радости!.. Что же ты молчишь, Вася?.. Скажи что-нибудь!

– Слушай, Ланде... – вдруг отозвался Семенов, не поворачивая головы, точно скрывая от него какое-то тайное выражение своего лица, и заговорил не так, как говорил всегда – не несерьезно и иронически, как взрослый человек с ребенком, – а жалким, беспомощным и растерянным голосом, с детскими всхлипывающими звуками. – Я хотел тебе сказать, Ланде... не хочется умирать!

Тоненькая острая тоска плакала и молила в том, что он говорил, и голос его мучительно входил в уши. Не хочется, Ланде... Пусть все так, может быть... и я... только раньше вас прихожу к общей цели... Пусть и Бог и все... а... не хочется умирать, Ланде!.. Жаль жизни, жаль тебя, себя, жаль солнца, травы... всего... Может, я больше никогда не увижу... Ланде!

Ланде плакал; крупные слезы текли по его худому напряженному лицу, и руки бессильно шевелились.

Семенов замолчал. Потом встал, ероша жидкую светлую бороду, подумал о чем-то и опять сел. Морщинистое лицо

его сразу изменилось и стало сухим и желтым.

– Дурак ты, Ланде! – зло усмехаясь, сказал он, – неужели ты думаешь, что все эти глупости о Боге могут иметь какое-нибудь значение, когда и в самом деле приходится умирать?.. Все это очень красиво и приятно, думать о бессмертии... необходимо думать, чтобы жить. А когда умираешь и не видишь ни впереди, ни позади никакого Бога... не обманешь, да и незачем... Не говори ты мне ничего больше!.. Это меня только раздражает!..

Тоненьким и злым голосом крикнул он последнее слово, и нижняя челюсть у него неудержимо запрыгала.

– Вот я страдаю... Можешь поверить, что не на шутку страдаю, – криво усмехаясь, сказал он. – Жизнь уже кончена, все радости, смысл... все... кончено!.. Осталось одно страдание... кажется, тут уж и нужно Бога... Тут страдание уже нелепое!.. А где же твой Бог?.. Что же он не приходит?.. Ведь, когда я буду в агонии и ноги у меня будут холодеть... Ты это понимаешь!.. А... б... я все еще не буду знать, правда ли это, есть ли Бог!.. Да на что же мне зна!..

Голос Семенова в нелепо страшном тоне засвистел и завизжал, вонзился в землю и сорвался. Семенов побледнел, дико вытаращил глаза, весь затрясся, и вдруг мучительный, надорванный и мокрый кашель точно порвал в куски его искажившееся от страха, ненависти и боли лицо.

Ланде подхватил его и поддержал трясущимися руками. Семенов выкатывал прямо ему в лицо огромные, как стра-

дание, глаза и силится что-то сказать.

– Т... так какая же цена твоему Богу, – отдышавшись и дико косясь на платок, в котором были мокрота и кровь, проговорил он, – для живого человека. Человек, значит, узнает Его, если Он и есть, только тогда, когда все человеческое в нем, все живое кончится... когда человека уже не будет, будет труп, а не человек... Ложись спать... Я лампу потушу...

Ланде ничего больше не ответил: слова Семенова падали и безвредно, не возмущая, растворялись в чем-то огромном и глубоком, наполнявшем его душу; но слов не было в ответ, и бессилён он был передать чувство свое и веру свою другому, страдавшему от него в двух шагах человеку. И тяжкое чувство беспомощности надавило ему на сердце холодной, смертной тоской.

Семенов остро посмотрел на него и с мучительным наслаждением усмехнулся.

– Знаешь, о чем я думал сегодня, Ланде? – обычным своим тоном заговорил он, тонко кривя рот. Что все люди – мне братья, а потому действительно придут и дадут мне последнее братское целование... Но только я тебе скажу, продолжал он с напряженным чувством сдерживаемого возврата бешенства, – что меня если что и утешает, так это только то, что все сдохнут!..

Он лег на кровать, завернулся с головой в одеяло и, маленький, щуплый, как убитый цыпленок, застыл.

Ланде потушил лампу и лег ничком, не раздеваясь, лицом

уткнувшись в подушку. В эту ночь он не спал; и она прошла для него почти незаметно, как будто он был вне времени. Без сна и покоя думал он о том, что сам не проник и не углубился в свою радостную веру, ибо бессилён передать ее, ибо и сам страдает, хотя и чужим страданием, сам хочет милости, отмены и исцеления, хотя и для другою. Жалость, как молния, прорезала сверху донизу его незыблемую веру в великую правоту и предвечный, необъятный смысл Бога. И тогда подумал он в первый раз, что жизнь слишком сложна, велика и странна для его слабого ума, что среди блеска и треска ее огней он теряет истинный свет и что только одиночество, сосредоточенное углубление в душу свою дали бы ему снова ясность и крепость в вере, пошатнувшейся в нем от жалости.

Мысль эта, еще смутная и неопределенная, легла ему на душу.

VIII

Всякий раз, когда Марья Николаевна видела Ланде, что-то чистое и кроткое овладевало ею и согревало душу, как ясный и тихий свет утра. Случалось ли ей раздражаться, скучать, смутно и жадно желать чего-то, она успокаивалась тотчас же, как только встречала Ланде, с его детскими, доверчивыми, добрыми и ясными глазами.

И это чувство доверчивого и ясного спокойствия с особенной силой овладело ею в один ясный и теплый вечер, почти через месяц после приезда Ланде, когда они вдвоем пошли гулять за город.

Сейчас же за последними, крепко придавленными к земле домами окраины начинались волны сыпучего и белого песка. Солнце заходило где-то сзади, и их длинные тени, неестественно высоко поднимая длинные ноги, шагали впереди, точно указывая им дорогу, как бесконечные черные стрелы. Далеко на буграх, в пустом поле, отчетливо вырисовываясь на синем небе и ярко освещенный низким солнцем, сидел человек.

– Это Молочаев, – сказала Марья Николаевна.

Ясно было видно, как художник что-то делал над маленьким, комично стоявшим на тоненьких колких ножках, белым мольбертиком.

– Нравится вам Молочаев? – спросила Марья Николаевна,

и чувство которое было в ней, радостно ждало именно того спокойного и доброго ответа, какой, как ей казалось, мог давать всегда один Ланде.

Ланде улыбнулся.

– Мне все нравятся... – сказал он. – Все люди в сущности одинаковы, и кто любит человека вообще, тот любит всех и каждого...

– Но ведь бывают же люди хуже и лучше?

– Нет, не думаю... Это только так кажется тогда, когда мы начинаем оценивать человека не по хорошим чувствам, которые есть в каждом человеке, каков бы он ни был, а по отношению его к тем фактам, которые с нашей личной точки зрения представляются нам хорошими... Это ведь несправедливо... Надо быть очень уверенным в своей непогрешимости, чтобы так судить!.. Да... У всякого есть любовь, доброта, деликатность, честность, самоотвержение – все, чем богата душа человека. Только условия жизни людей неодинаковы, и оттого чувства эти направляются не в одну сторону... Но никому не доставляет удовольствия быть так просто, ради чувства, злым, завистливым, жестоким, жадным...

– А мне иногда доставляет удовольствие быть жестокой... – задумчиво возразила Марья Николаевна.

Ланде с ласковой нежностью посмотрел сбоку на ее тонкую, выпуклую фигуру и нежный, прозрачный профиль, всегда казавшийся грустным, каким бы ни было в действительности выражение ее лица.

– Ведь это мучительное болезненное наслаждение... – сказал он. – А истинной, спокойной и светлой радости от жестокости не испытывает самый закоренелый злодей, если только он не душевнобольной, то есть уже не человек. Всякому человеку надо что-нибудь любить, жалеть, для чего-нибудь жертвовать собою; вечно он создает себе Бога, ибо Бог в душе его. И не его вина, если жизнь направляет его чувство не по настоящему пути... Это все от внешних условий, от того русла, в которое вольется случайно жизнь. Вот и Молочаев... ведь он страстно любит свое искусство, красоту; я знаю, что он пойдет на всякие подвиги и жертвы для него. Значит, есть в нем способность, и даже громадная способность, любить. Другой случай, иной толчок – и его громадная любовь направится в другую сторону и из этого же, на вид... с нашей точки зрения, узкого, пустого художника – выйдет подвижник, человеколюбец... все!

– Вы верите в людей! – тихо сказала Марья Николаевна.

– Верю! – твердо ответил Ланде.

– Что вам дает такую веру? – тихо спросила Марья Николаевна, почему-то стыдясь своего вопроса.

– Вера в Бога! – тем же тоном, как бы продолжая, ответил Ланде. – Я верю, чувствую, что дух Божий, брошенный Богом в хаос для создания себе подобного, проходит сквозь человека навстречу желанию божьему, проходит сквозь ужасную, титаническую творческую муку, проходит, чтобы облегчить великое одиночество Божие... Я не могу этого выра-

зить, но я верю в человека, как в начало Будущего... Верю!

Ланде замолчал в сильном волнении, нервно улыбаясь, светя глазами, влажными и блестящими, и ломая худые, слабые пальцы.

Волнение его странно сообщилось девушке.

– А смерть? – со смутной надеждой и тревогой спросила она, отвечая своим мыслям.

– Бойтесь ли вы смерти? – спросил вместо ответа Ланде.

– Боюсь! – протяжно ответила Марья Николаевна; услышала свой голос и засмеялась.

И смех ее чисто и звонко отдался в маленьком, молодом бору, к темно-зеленой полосе которого они медленно подходили.

– Нет, не бойтесь! – радостно засмеялся и Ланде. – И нельзя бояться самой смерти... Ничто в мире не боится самой смерти, боится только человек и боится не ее, а неизвестности... Страх смерти – это усталость слабого ума, измучившегося в бессильных стараниях преждевременно проникнуть в тайну. А он бы и не вынес ее, несовершенный... Смерти нет... я верю!

Они вошли в смолистый сумрак первых пушистых зеленых елочек. Под ними было темно и казалось, что уже вечер. Иглистые веточки тихо покачивались над зеленой травой у дороги. Какая-то птица неслышно порхнула вниз между корней.

– Вы, значит, верите в загробную жизнь? – с детским непо-

следовательным любопытством спросила Марья Николаевна.

– Я только чувствую, что не могу бесследно уничтожиться... – ответил Ланде, не удивляясь ее вопросу. – Но что это будет, я не знаю. Рассуждать и представлять себе человек может только то, что в пределах его настоящего бытия, его теперешнего разума и ощущения. Нельзя представить себе вечную жизнь, ибо это вне нашей телесной жизни: тело не вместит и притянет к себе, умалит до своих размеров... Можно только предчувствовать.

– Я не понимаю... – робко отозвалась девушка. – Если она есть, то это странно...

– Нет, не странно. Что же странного в том, что вы не в силах объяснить себе великого предчувствия, когда даже чувства, заключенные в самом теле нашем, мы не можем объяснить себе... Что такое любовь?.. А ведь это не странно вам?

– Любовь? – чутко откликнулась девушка. – Да, любовь!.. – тихо повторила она.

– Вечность и бесконечность самые великие свойства Духа Божия... – мечтательно говорил Ланде. – Еще так далек человек от восприятия этих последних тайн... А когда наст...

– Кто это? – испуганно сказала Марья Николаевна и остановилась.

Два человека вышли из-за кустов им навстречу. Их выпуклые, мягко-пестрые фигуры неслышно ступали по сырой земле в зеленом, влажном сумраке бора. Они подходили, не

торопясь, даже тихо, и опустив руки, но было в них что-то особое, тревожное и страшное, как скрытая угроза.

Ланде спокойно поднял голову и посмотрел на них.

– Ткачев! – громко и удивленно сказал он.

Не доходя нескольких шагов, люди остановились и исподлобья оглянулись назад и кругом. И это беспокойное оглядывание в ясном и тихом сумраке было неестественно и страшно.

– Бежим! – с ужасом шепнула Марья Николаевна над ухом Ланде.

Он не узнал ее голоса, пониженного и сухого, и с удивлением оглянулся на нее.

Ткачев, черный и сухой, в рваном пиджаке поверх рубашки, остался на месте; а другой, неизвестный, ловкими босыми ногами легко подошел к ним, и Марье Николаевне на всю жизнь почему-то ярко и страшно врезались в глаза его босые, далеко расставленные пальцы, между которыми попадали иголки нежно-зеленой травы.

– Не будет ли на косушку? – развязно и хрипло сказал человек, протягивая большую руку.

Марья Николаевна судорожно ухватила за локоть Ланде и прижалась к нему. Ткачев не шевелился.

– Ну? – угрожающе повторил босой.

Ланде с трудом достал свободной рукой кошелек.

– На-те... – печально и серьезно глядя в глаза босому, сказал он.

Ткачев издали язвительно улыбнулся.

– Что, мало? – быстро спрятав куда-то кошелек, торопливо спросил босой. – Давай спинжак... Живо!.. Барышня, вы бы отошли... Нехорошо! – издеваясь, прибавил он.

Марья Николаевна, широко раскрыв на него глаза и вся дрожа, вполоборота стояла на дороге. Ланде опять печально улыбнулся, снял пиджак и в одной старой рубаше со складочками на груди, плохо заглаженными, стал худее и слабее.

– Портки хороши больно... – беспокойно оглядываясь и встряхивая пиджак перед самым носом Ланде, проговорил босой. – Снимай, что ли!..

– А вам они нужны? – спокойно возразил Ланде, но сейчас же сел на траву. – Уйдите, Марья Николаевна... – сказал он. – Бог с ними...

И вдруг Марья Николаевна почувствовала прилив нервного, сумасшедшего смеха. Точно кто-то шутя, но сильно сдавил ее за горло, так было дико и страшно, но в то же время смешно. Полураздетый Ланде с серьезным и мягким лицом сидел на траве, а босой тянул его за ногу. Ткачев пошевелился и издал какой-то странный, хриплый звук, на который никто не оглянулся; подернул плечом, точно ему стало холодно, и опять застыл, пристально глядя на Ланде.

– Идите, Марья Николаевна!.. – повторил Ланде.

– Э... барышня! Постой-ка! – спохватился босой. – Это что?.. – и он протянул руку к ее груди, на которой качалась длинная цепочка часов.

Ужасное, омерзительно-грубое почудилось девушке в этом движении. Изогнувшись, как змея, она скользнула в сторону и вдруг, подобрав высоко и дико красиво платье, стремглав бросилась бежать по дороге, точно резкий ветер внезапно подхватил и понес большой белый разбитый цветок.

– Куда! – коротко крикнул босой и, бросив пиджак прямо на голову Ланде, прыгнул мимо него ловко и легко, как хищный лесной зверь.

И в тот же миг дикий, тонкий и острый, как игла, женский крик пронизал бор и высоко вонзился в потемневшее небо.

Крик этот услышал подходивший за поворотом Молочаев. И так же быстро инстинктивно, как всегда и во всем, соображая, он бросил ящик и мольберт и с места рванулся бежать. Босой увидел его прежде всех. С размаху остановившись и поскользнувшись в траве, он пригнулся к земле, с секунду смотрел на Молочаева круглыми, дикими зрачками и вдруг бросился прочь по кустам с треском и шумом. Марья Николаевна налетела на дерево и, больно ударившись всем телом, остановилась с разбившимися волосами и безумными глазами, не понимая, что с ней. Мимо, тяжело сопя, торопливыми скачками пробежал Молочаев и, минуя Ланде, который поднялся и, весь белый, тоненький и слабый, стоял на траве у края дороги, налетел на Ткачева. Ткачев видел его еще издали, и одно мгновение показалось, что он побежит; но он не побежал, а только съежился и черный, и упрямый стоял и

ждал подбегавшего Молочаева. Он стучал зубами, и его темные глаза с опущенными веками горели мрачным и упорным огнем. Молочаев молча подбежал к нему и прежде, чем Ткачев пошевелился, размахисто вскинул кулаком и со страшной силой ударил его прямо в лицо. Ткачев тихо, испуганно охнул, взмахнул руками; шапка у него соскочила, прыгнув по спине, и он грузно и твердо сел. Другой удар пришелся сверху, по голове, и Ткачев, свернувшись набок, странно и неуклюже свалился на дорогу, ударившись головой о землю.

– Молочаев, Молочаев! – пронзительно вскрикнул Ланде и, как был в одном белье, бросился к ним и ухватился за руку Молочаева. – Оставьте!

Марья Николаевна, с ужасом прижавшись к сосне, издали смотрела на них.

Молочаев, тяжело дыша, весь красный и возбужденный, опустил руки, а Ланде торопливо стал на колени и старался поднять Ткачева. Побитый не шевелился, и голова его на длинной и тонкой шее беспомощно ерзала по земле.

– Вы его убили! – с ужасом пробормотал Ланде.

– Ну... так ему и надо! – жестко ответил Молочаев.

Но Ткачев вдруг быстро поднялся на руки и встал. По лицу его текла густая кровь, на виске прилипла земля, и вся левая сторона лица и нос были страшного, грязно-кровавого цвета.

– Ожил!.. Будет знать в другой раз! – безжалостно и возбужденно сказал Молочаев. Руки у него вздрагивали и сжи-

мались, точно ему хотелось еще бить и рвать.

Ланде его не слушал; он достал из кармана лежавших на траве брюк носовой платок и совал его Ткачеву.

– Вытрите... кровь... Ах, Боже мой, что это такое! – бес-
связно, с бесконечным ужасом и болью бормотал он.

Ткачев не двигался и платка не брал. Один глаз у него за-
пух, а другой глядел одиноко и страшно. Кровь капала с под-
бородка и разбитой губы на засаленный отворот пиджака.

– Да что с ним разговаривать еще!.. – в то же время гово-
рил Молочаев. – Вот я его сведу куда следует, так... Эй, ты!
иди-ка, ну! – и Молочаев грубо схватил Ткачева за шиворот
и дернул так, что тот уродливо и бессильно шагнул два раза
вперед и поскользнулся.

– Да оставьте же! – пронзительно и гневно крикнул Ланде
и всем своим слабым телом бросился на руку Молочаева.

Молочаев с удивлением и злостью посмотрел на него.

– А вы, какого черта дурака разыгрываете! – вспылил он,
но вдруг неожиданно опустил руку, молча поглядел на раз-
детого Ланде, приснул и раскатисто захохотал. Марья Нико-
лаевна, сама не замечавшая, как подошла к ним, с удивле-
нием взглянула на Молочаева, потом на Ланде, опомнилась,
покраснела до ушей и, быстро отвернувшись, пошла прочь
по дороге.

– Ах, вы, шут гороховый! – проговорил сквозь смех Мо-
лочаев.

Вдруг черная, кровавая маска Ткачева исказилась, и он

хрипло и злобно засмеялся, брызгая кровью. И этот смех избитого был уродлив и страшен. Ланде смотрел на них и улыбался спокойно и печально, как всегда.

– Да одевайтесь, вы, черт вас побери! – крикнул Молочаев, махнул рукой и пошел вслед за девушкой.

Ланде не обратил на него никакого внимания, точно Молочаева тут и не было.

Ткачев перестал смеяться, одним глазом посмотрел на Ланде, потом вслед Молочаеву, повернулся и медленно пошел.

– Ткачев! – крикнул Ланде.

Ткачев остановился и встал вполоборота. Ланде подошел.

– Ткачев, – умоляюще заговорил он, дотрагиваясь до его рукава, – вы нарочно это устроили: я по вашим глазам видел!.. Зачем это, Ткачев, зачем?

Ткачев тяжело и хмуро взглянул на него, точно не слыша и думая о другом.

– Видал ты настоящего человека? – хрипло спросил он. – Вон, смотри!.. – дернул он худой и длинной шеей в сторону Молочаева. – Это человек... сила!.. А ты... так, мразь одна! Так, ни к чему ты!

– Может быть, – согласился Ланде, – но только все-таки за что же вы меня ненавидите? Неужели только за то, что я хуже его?

Ткачев уныло помолчал, глядя в сторону.

– А за то, что я сколько лет в тебя верил! Сам вот до чего

дошел... – горько ткнул он себя в разбитую щеку, – и вижу теперь, что дурак был, сладкой брехне верил... А жизнь-то где? И прошла... Мне теперь бы, может, человеком быть, а я... Ты-то понимаешь теперь?... Ты?... А ему... а ему я это отплачу-у! – вдруг прибавил он и с бессильной злобой потряс черным кулаком. – Сам пропаду, а ему я это попомню!.. Подожди-и!

Ткачев быстро повернулся и пошел прочь. Ланде показалось, что он хрипло и тихо залаял; но больше Ткачев не обернулся и скоро затерялся в зеленом сумраке бора. Ланде долго смотрел ему вслед, потом с глубоким и растерянным отчаянием заломил руки, вздохнул и, одевшись, медленно повернулся догонять Марию Николаевну и Молочаева.

«Теперь он в ожесточении, а когда успокоится, я найду его...» – смутно мелькало в голове Ланде.

– Вот здесь я ваш крик услышал! – оживленно рассказывал художник, подымая с дороги ящик и мольберт. – Я ведь вас давно заметил и хотел догнать, да уронил шпахтель и долго искал... Ну, слава Богу, все-таки поспел вовремя!

Марья Николаевна чуть-чуть оглянулась, почувствовав Ланде. Он улыбнулся ей доверчиво и ласково, но она быстро отвернулась, подавляя припадок все еще нервного смеха. В эту минуту Ланде казался ей только жалок и смешон.

Молочаев тоже посмотрел на него и со злорадным презрением сказал:

– Эх, вы!.. герой!..

– Я не герой... – махнул рукой Ланде с редкой для него досадой.

– Оно и видно! – злорадно скривился Молочаев.

И всю дорогу до самого дома он грубо и жестоко острил над Ланде и с хвастливым удовольствием рассказывал о своей страшной физической силе. Ланде печально улыбался, а Марья Николаевна искоса поглядывала на Молочаева со странным чувством физического любопытства, и ее тонкие, прозрачные, как у породистой лошади, ноздри чуть-чуть раздувались. Ей было и интересно, и немного противно.

IX

Было уже темно и луна еще не всходила, когда Ланде подходил к дому. Думал он все о Ткачеве, и думы его были упорны и мучительны.

«Когда он смеялся надо мной, он страдал больше, чем я сам; это я видел... Это ужас, но кто в нем виноват, он, я... или кто-то вне нас?.. Я не знаю... Надо бороться, но как бороться, когда я не понимаю даже, откуда это?..»

Было тихо. Ланде шел, упорно глядя невидящими глазами в темную землю, медленно уходившую из-под его ног назад.

– Па-а!.. – отчаянно, с болезненной мольбой закричал где-то поблизости ребенок, и вся тихая, пустынная и темная улица вдруг вспыхнула и ожила дикими, безобразными звуками.

– Папа... не буду... папочка! – беспомощно кричал и как будто рвался ребенок.

– Не будешь?.. Не будешь?.. Не будешь? – методично, все повышая и напирая на звук, скрипел отрывистый и какой-то сухой бас. И чудилось, что в коротких промежутках между обрывками слов делается что-то безобразное и страшное.

Кто-то стоял под окном флигеля и чутко прислушивался. Тоненькая, бледная тень девочки, с бледным личиком и большими блестящими жутким чувством глазами, колебалась в сумраке странно и неясно.

– Это вы, Соня? – смутно узнавая сестру Семенова и хва-

тая ее за худенькую руку, спросил Ланде. – Что это такое?..

Слышите, он его убьет! – отозвалась она странным полудетским, полуженским голосом и с движением жестокого и дикого любопытства вытянула шею к окну.

Ланде, с трудом оторвавшийся от своих дум, вдруг понял, охнул, опрометью, стукнувшись коленом о невидимый в темноте тротуарный столбик, вбежал во двор, вскочил на крыльцо и толкнул дверь в комнату.

Там горела лампа большая и светлая, отражаясь снопом золотых искр в куче образов, нагроможденных в углу до самого потолка. А посреди комнаты, лицом к двери, странно и как-то сладострастно согнувшись, стоял Фирсов в одном форменном жилете с мелкими блестящими пуговками и равномерно, продергивая, стегал длинным тонким ремешком по покрасневшему маленькому телу, которое было крепко зажато между его длинными костлявыми коленями в серых штанах.

– Не будешь! Не будешь! – режущим голосом, стиснув зубы, повторял он и в каждом промежутке меж слов хлестко и с наслаждением стегал ремнем, прорезывавшим синими полосами нежно-розовое округленное мягкое тело.

Что-то холодное и туманное ударило в голову Ланде, и, прежде чем он успел сообразить, что делать, почти в бешенстве бросился к Фирсову, схватил тонкую жилистую руку и изо всей силы толкнул его в грудь. Фирсов дрыгнул поскользнувшимися ногами, уронил ремень и ребенка и ухва-

тился за стол... Что-то зазвенело и разбилось об пол.

– Это еще что такое! Вам что надо? – заревел он, сжимая кулаки.

Ланде прижал к себе навзрыд плачущего ребенка и смотрел ему навстречу огромными гневными глазами.

– Фирсов, опомнитесь! – дрожащими губами, но со странной неотвратимой силой выговорил он.

С минуту Фирсов безумно смотрел ему в глаза, точно не узнавая, а потом вдруг густо покраснел и мрачный, и дикий огонь, горевший в его круглых глазах, сразу потух. Он судорожно провел рукой по голове и пробормотал:

– Ах, это вы, Иван Ферапонтович!.. Извините... я...

– Опять, Фирсов, опять! – с напряженным укором сказал Ланде. – Как вам не стыдно, как вам не грех!

Он отвернулся и легонько толкнул ребенка к Соне, молча стоявшей в дверях.

Желтое длинное лицо Фирсова сделалось медным.

– Позвольте, Иван Ферапонтович... – хрипло заговорил он. – Вы не знаете... я не без причины...

– Какая может быть причина! – с тою же силой и гневным презрением крикнул Ланде. – Никакая причина не может оправдать этого ужаса!

Фирсов вдруг ступил к нему и поднял костлявую дрожащую руку.

– Нет, есть! – как-то оскалив желтые корешки съеденных зубов и опять выкатив глаза, крикнул он. – Знаете, что он,

пащенок, сделал? знаете? – с нарастающим торжеством выкрикивал он.

– Что?

– А, «что»!.. Вот полюбуйтесь! – со злобным торжеством отступил в сторону Фирсов и, вытянув длинный палец, ткнул им в образа.

Ланде недоуменно посмотрел и увидел сначала только ящик с красками, кисточку и стакан с грязной зеленой водой.

– Что? – повторил он.

– А вот! – с тем же торжеством повторил Фирсов и дернул Ланде за руку к образам.

Тогда Ланде разобрал, что две напечатанные на бумаге сцены из Священного Писания грубо и нелепо раскрашены детскими красками и к женским лицам пририсованы усы и бороды.

– А! – равнодушно сказал Ланде.

Ребенок тихо всхлипнул.

– Не плачь... Мы не дадим больше... – как-то машинально сказала Соня, не спуская глаз с Ланде.

– Да ведь это же ребенок, Фирсов! – беря его за руку и стараясь успокоить, говорил Ланде.

– Я знаю, что ребенок! – запальчиво и тяжело дыша, вздернул головой Фирсов. – Если бы это не ребенок был, я, может, убил бы его!..

– Что вы говорите! – с удивлением сказал Ланде, махнув рукой.

– Да... убил бы, убил! – стуча по столу костяшками пальцев, упрямо крикнул Фирсов.

– Оставьте, Фирсов, – властно приказал Ланде, беря его за руку и оглядываясь на Сою. – Оставьте, – из-за такого пустяка!..

Фирсов быстро выпрямился, как будто ждал именно этих слов.

– Пустяка-а? – неестественно растягивая слова, повторил он.

– Да, разве можно придавать этому серьезное значение? Неужели вы не понимаете, что вы бесконечное число раз больше грешите, чем бедный мальчуган? – убедительно и печально сказал Ланде.

– А!.. по-вашему, это пустяк? Так... – начал Фирсов и вдруг, точно нарочно прищпоривая себя, тем же фальшиво-бешеным голосом закричал:

– Пустяк? – и пронзительно завизжал и затопал ногами. – Вон, вон отсюда!.. Богохул, дьявол! Вон, чтоб духу твоего!..

– Фирсов, – удивленно проговорил Ланде, – что с вами?

– Вон! – нарочно не слушая, брызгая и топоча ногами и оттого в самом деле впадая в бешенство, кричал Фирсов.

Во второй раз в жизни Ланде показалось, что это кричит не человек, а кто-то хитрый и злой внутри его. Ему стало страшно и противно, и чувство это было так непривычно и мучительно для него, что он поскорее отвернулся и отступил.

– Я уйду... – поспешно сказал он. – Вы теперь какой-то странный... Лучше я завтра приду... Только я и Сережу возьму с собой, а то вы...

Фирсов задохнулся, вытаращил глаза и замолчал.

Ланде повернулся к Соне.

– Возьмем его к себе, Соня! – сказал он.

Соня вскинула на него глаза, молча кивнула головой, с усилием, сморщившись, подняла тяжелого заплаканного мальчика и отошла к двери.

– Мы уходим, Фирсов, и Сережу берем... – повторил Ланде.

– Скатертью дорога! – хрипло проговорил Фирсов, длинный и всклокоченный, точно прилипнув в углу около образов.

– Мы берем его только потому, что вы раздражены очень, – примиряюще говорил Ланде.

– Ладно, ладно! – злорадно кивал головой Фирсов. – А назад приведете... тогда увидим!

Ланде секунду стоял неподвижно, жутко и скорбно глядя прямо в глаза Фирсову. Но Фирсов отворачивался и бегал глазами по иконам, по полу, по сторонам.

– Да что же это с вами? – горько воскликнул Ланде. – Никогда вы таким со мной не были.

– Ладно, ладно! – бормотал Фирсов. – А вы и сообразили о себе... Не думайте!.. Есть и почище вас, хотя, конечно, не лезут вперед... как иные! Да-с, а... этому пащенку я покажу,

как...

– Да ведь это прежде всего сын ваш! – ударил себя кулаком в грудь Ланде.

– Не вам меня обязанностям к сыну учить! – опять дико огрызнулся Фирсов. – Понимаете?.. Не вам и не меня!.. Господь видит, где истинное!.. Сын, – я знаю, что сын!.. Нет у меня сына прежде Бога моего! – вдруг повернувшись, опять крикнул он. – Вот...

Он не мог договорить и только судорожно стал цепляться за иконы, что-то роняя на пол и нелепо бормоча:

– Все здесь... все... вот!..

Ланде посмотрел на Фирсова недоуменно, тяжело пожал плечами и пошел из комнаты.

– Я лучше уйду теперь... вас мое присутствие раздражает, должно быть... – сокрушенно и мягко проговорил он.

Соня стояла у крыльца с, ребенком на руках.

– Пойдемте, больше с ним говорить нельзя... Он какой-то сумасшедший сегодня! – сказал Ланде.

Он взял ребенка к себе на руки и понес, нежно прижав к щеке пухлую детскую щечку. Соня шла сзади и, машинально вытирая мокрую руку, смотрела в затылок Ланде каким-то неестественно восторженным взглядом.

Х

На другой день Фирсов в сюртуке и высоких воротничках, сухой и прямой, как палка, вошел в комнату Семенова. Ланде, одетый, сидел у окна и, склонив голову набок, усердно, немного детским аккуратным почерком переписывал большую рукопись, которую достал ему для переписки Семенов. Больной студент еще лежал на кровати и курил.

– А, Фирсов! – радостно вскрикнул Ланде, подымаясь ему навстречу и роняя кляксу на чисто переписанный лист. Семенов издали посмотрел на эту кляксу и ничего не сказал.

Фирсов устремил на Ланде оловянный взгляд и не подал руки.

– Я пришел за сыном! – сухо, неестественно официально сказал он.

– Сережа давно уже в сад убежал...

– Соня его гулять повела... – отозвался Семенов безучастным голосом.

– Благодарю вас! – также неестественно поклонился в его сторону Фирсов. – А за сим, извините... И он повернулся.

– Что это значит, Фирсов? – с огорчением спросил Ланде.

– Ничего-с! – с каким-то проворным удовольствием пожал плечами Фирсов.

– Да будет вам! – болезненно морщась от его тона, возразил Ланде, подходя.

– Ломается, как дурак! – сердито отозвался Семенов.

Фирсов быстро повернулся к нему и из сухого, как палка, стал вдруг гибким, как змея.

– Не знаю, кто дурак! – язвительно и уязвленно ответил он. – Но раз уже так... извольте, я объяснюсь...

Он быстро положил палку и фуражку на стул и также быстро и порывисто сел рядом.

– Очень нужно! – фыркнул Семенов. – Шут гороховый!

– Оставь, Вася! – сказал Ланде просительно.

Фирсов притворился, что не слышит, и повернулся к Ланде в упор.

– Я принужден начать несколько издалека... – витиевато, с явным внутренним упоением приготовленной речью, заговорил он. – Вы... Иван Ферапонтович, имели на меня когда-то огромное влияние, признаюсь... да, чистосердечно признаюсь... Что ж, я все-таки могу сказать, что мы были даже друзьями...

На сухих дряблых щеках Фирсова выступил кирпичный румянец, и на одну секунду казалось, что он запнулся, как будто боясь, чтобы Ланде не отверг этого.

– всегда был расположен к вам, Фирсов... – с ласковым чувством отозвался Ланде.

Что-то похожее на тайное, несознаваемо унижительное удовлетворение мелькнуло в глазах Фирсова, а потом он сейчас же стал груб и дерзок.

– Вы обольстили меня внешностью своих поступков, в ис-

тинном смысле которых я не мог тогда по молодости разобраться...

– Я ведь вас знаю, кажется, уже пожилым человеком... наивно перебил Ланде, чрезвычайно заинтересованный.

Фирсов опять покраснел бледным кирпичным румянцем.

– Да-с... Конечно, я... Я хотел сказать, что, когда вы еще юношей посещали бедных и больных, раздавали все... и тому подобное, – я возомнил, что вижу истинного христианина... и ваши беседы меня в том укрепляли... И я чувствовал к вам большую приязнь. Я и теперь сознаюсь в этом... Увлекая своим красноречием доверчивую молодежь, вы становились, так сказать, центром... и... и кумиром многих. Даже я, человек, без гордости скажу, твердый и твердых убеждений, долго не мог увидеть истинного смысла ваших речей и поступков...

– А какой же смысл, по-вашему, был? – с интересом спросил Ланде.

– Вы сами знаете, какой... – слегка останавливая его поднятыми пальцами, возразил Фирсов с хитрым и острым взглядом.

– Ну, все-таки?

– А вот-с какой... если вы непременно этого желаете... Не принимая никакого участия в службах церковных, вы как бы хотели подчеркнуть и... и оттенить, что истинная христианская религия вне церкви... Да-с! И многих увлекли так, что многие перестали бывать в церкви и даже впадали в критику

догматов!.. Многие, но не я... Вам это, конечно, очень было не по нутру, но я вам не мальчишка-студент и не вам меня совратить. Скорее я вас направлю на путь истинный!..

– О, Господи! – страдальчески вздохнул Ланде. – Что вы только наговорили, Фирсов!..

Семенов со сдержанным раздражением тяжело ворошил-ся на кровати.

– Да-с, да-с! – торжествующе упрямо повторил Фирсов. – Не меня-с.

– И опять-таки я не понимаю, к чему все это? – развел руками Ланде.

– А вот к чему! – громко и грубо сказал Фирсов и темно-серые баки его встопорщились. Было очевидно, что он запутался и страдал, сознавая это, в уязвленной гордости. – Позвольте вас, наконец, прямо спросить: христианин вы или нет?

Семенов фыркнул.

– Я, право, не знаю... и лучше мы в другой раз поговорим... – мягко, страдая за Фирсова, пытался заговорить Ланде.

– Так-с!.. – сухо и коротко рубя слова и как бы подхваченный какою-то силой, продолжал Фирсов. – Верите ли вы в православную церковь?

Ланде волновался и двигался по комнате.

– Что за вопрос, Фирсов?.. К чему это?.. Впрочем, если вам это нужно, в церковь я совсем не верю, это само...

– Так-с! – перебил Фирсов, вставая и с узким торжеством потирая руки. – Этот разговор и многое другое в связи с вашим отречением от матери...

Ланде широко раскрыл глаза.

– Это неправда, – я никогда не отрекался от мамы... а только я решил жить отдельно от нее, потому что...

– Да охота тебе с этой дрянью говорить! – вдруг сердито крикнул Семенов и сел на кровати взъерошенный и желтый. – С какой стати ты позволяешь всякой сволочи копать-ся в своей душе!

– Понима-аю!.. – сквозь зубы также фальшиво сдержанно сказал Фирсов и опасно потянул фуражку. – Больше мне нечего спрашивать, хотя я и хотел сказать еще кое-что... что, может быть, – прибавил он с потупленной гордой скромностью, – может быть, принесло бы вам некоторую пользу... Но раз так... Довольно!.. Теперь я знаю, что мне делать... и будьте уверены, что я поступлю, как повелевает мне долг и совесть!.. Да-с...

И Фирсов торжествуя поднялся.

– Ах, ты, старая скотина! – с бешенством крикнул Семенов, хотел вскочить, но страшно, хрипло закашлялся и упал лицом в подушку, облившись холодным потом. Тонкая босая нога, высунувшаяся из-под одеяла, судорожно дергалась от усилий.

Фирсов, злорадно оскалив зубы, посмотрел на него.

– Так-то-с! – торжествуя протянул он и повернулся

опять к Ланде.

– А вам я вот еще что скажу: все ваши поступки только ложь и притворство... Истинную веру не вы понимаете, а может, люди, которых вы воображаете ниже стоящими... А вы слуга антихриста и...

– Убирайся к черту! – в исступлении завопил Семенов, и больной, напряженный голос его хлестко разрезал воздух. Вон отсюда!..

Фирсов гордо посмотрел на него, надел фуражку и отворил дверь.

– Дохлая собака! – с бесконечной ненавистью и злорадством процедил он за дверью. – Молчал бы, коли уж Бог убил!.. Туда же!..

Ланде, бледный и растерянный, стоял посреди комнаты и беспомощно улыбался. Семенов посмотрел на него и, как будто стыдясь своего взрыва, все еще дрожа и задыхаясь, стал одеваться.

Ланде всплеснул руками и схватился за голову.

– Господи!.. Сколько ненависти и злобы, за что?.. Разве я...

Семенов, не глядя, тихо отозвался: Охота тебе обращать внимание...

Но Ланде, не слушая его и чувствуя только одну непреодолимую потребность – сейчас, немедленно потушить ту ненависть и злобу, которые вспыхнули возле него, как ему казалось, по его вине, потому что он не сумел их предупредить, и которые

нестерпимо жгли его сердце, вдруг повернулся и опрометью бросился из комнаты.

– Куда ты? – испуганно крикнул Семенов, пугаясь того ненужного и унижительного, по его убеждению, что, подумал он, хочет сделать Ланде.

– Я сейчас... – пробормотал Ланде, сбежал с крыльца и побежал к флигелю Фирсова. Дверь была заперта и твердо оттолкнула Ланде.

– Фирсов!.. отоприте! – прокричал Ланде, хватаясь за ручку двери.

За дверью ничего не было слышно, кроме тупого, торжествующего молчания, и чудилось, что кто-то злорадно затаился тут, сейчас же за дверью; затаился и молчал, наслаждаясь. Ланде вертел и дергал ручку двери.

– Фирсов!.. Это ошибка! отворите, я все вам объясню... Отоприте!

Фирсов не отзывался. Ланде печальными глазами посмотрел вокруг, закусил губу, чтобы не выразить страдания, и отошел.

Из садика вышла и подошла к нему тоненькая, стройная Соня, прикрывшаяся от солнца прозрачной белой косынкой, из-под которой смотрели пытливо и сумрачно большие глаза.

– Ваня, – строго и серьезно сказала она, уйдите отсюда, вы себя унижаете.

– Сонечка, – серьезно возразил Ланде, – но разве можно

это так оставить? Ведь это ужасно, нелепо... Зачем, к чему такая злоба?

– Он подлец, дрянь, ничтожество! – убежденно сказала Соня. – Он вас давно ненавидит за то, что вы лучше его...

– Ах, какие вы глупости говорите, Соня! – махнул рукой Ланде.

– Это правда! – настойчиво крикнула Соня и сдернула с головы косынку. – Ну, пусть... Не в том дело, Соня, кто лучше, кто хуже... Не это важно.

На крыльцо вышел Семенов, полуодетый, нечесаный и желтый, как шафран.

– Ланде, – крикнул он сурово, – иди сюда, сейчас! А то я тебя побью, ей-Богу!..

В голосе его ясно слышались любовь и жалость и какое-то светлое удивление.

XI

Вечером во флигеле Фирсова горел огонь и при его мертвом, неподвижно желтом свете Фирсов сидел прямо и неудобно перед столом и писал донос на Ланде архиерею. Перо скребло по бумаге, как грызущая мышь; было душно, жарко и от спертого воздуха и от тяжелой злобы, наполнявшей уязвленную душу Фирсова.

За окном светил белый месяц, и легко дышала прохладная чистая голубая ночь. На бульваре можно было читать при лунном свете и все казалось прозрачно-глубоким и чистым, точно покрытое зеленовато-синей эмалью. Гуляли люди, и их черные тени легко и резко ложились на гладкой земле.

Ланде и Семенов, один в своей старой тужурке, другой в застегнутом на все пуговицы студенческом пальто, прошли в общей толпе и сели на скамейку над обрывом.

– А я тебе говорю, – сказал Семенов, решительно размахивая палкой, – что люди уже достаточно намучились в исканиях какого-то счастья и давно пора им плюнуть и разойтись...

– Нет, – печально, но твердо возразил Ланде, – это отчаяние, а отчаяние – грех, потому что оно обозначает упадок духа. Мы не знаем воли Бога, а потому и не можем самовольно выйти из нее. Так или иначе, а мы сотворим волю Пославшего нас, и я думаю, что не отчаиваться, не озлобляться на-

до, а думать о том, чтобы как можно лучше выполнить то, чего мы не можем не выполнить, жизнь! – вот самое лучшее для человека.

Семенов пренебрежительно махнул палкой, и его черная тень повторила его движение.

– А кто нам скажет, как лучше выполнить?

– Сердце, – убежденно ответил Ланде, – совесть.

– Ну, брат, совесть у людей бывает разная... – Об этом не надо думать, Вася... Никто нас и не призывает к тому, чтобы оценивать и сравнивать совести: каждому человеку надо думать только о своей... Это гордость, Вася... непременно сейчас же оценивать и выяснять, даже приговор постановлять над всем. Надо только, чтобы всякий человек искренно считал себя правым во всех делах своих.

– Все это прекрасно... – возразил Семенов и усмехнулся. Да толку от этого мало... Так-то!

К ним подошли ярко вырезанные лунным светом на темном фоне домов и деревьев Шишмарев, Молочаев, Марья Николаевна и Соня, прижавшаяся к ней с тем восторгом и влюбленностью, с которой девочки всегда относятся к взрослой, красивой и смелой девушке.

Марья Николаевна нерешительно и неловко пожала руку Ланде и невольно улыбнулась, вспомнив его фигуру в вечер нападения. Она отвернулась к обрыву и обняла Соню мягкой, полной рукой. Молочаев стал на обрыве, окованный холодным серебром лунного света, красивый и большой; а ма-

ленький Шишмарев торопливо обратился к Ланде.

– Слушай, Ваня, это черт знает что такое! – резким голосом, нервно двигая руками и потирая их, заговорил он. – Неужели ты окончательно не умеешь разбирать людей? Ведь этот Фирсов – дрянь известная, ханжа, доносчик, член русского собрания, а ты с ним возишься... Мне Соня рассказывала, что ты у него чуть ли не прощения вымаливал...

– Он не такой дурной человек... – тихо ответил Ланде.

– Да ведь он гадости делает на каждом шагу!

– Он не понимает, что делает и как вредит этим себе самому. Если бы понимал, не стал бы этого делать... Надо объяснить ему, больше жалеть его, – он поймет...

– Тьфу! – плюнул Семенов.

Шишмарев с молчаливым недоумением воззрелся на Ланде.

– Не сердись, милый!.. – кротко сказал Ланде Семенову. – Я тебя все раздражаю, а я, право...

– Если хочешь знать, – резко и пылко заговорил Шишмарев, перебивая, – так такая любовь просто бессмысленна... Любить надо того, кто достоин любви или хоть жалости; а кто достоин одного презрения, того надо презирать и уничтожать, как уничтожают болезнетворные начала для того, чтобы очистить и оздоровить воздух, которым дышат все. Эта знаменитая любовь к ближним, безразличная, бессмысленная любовь, повела только к тому, что культивируется и поддерживается масса безусловно обреченного на уничтоже-

ние, вредного, злого!

– Есть много людей, для которых и ты, и я – вредные люди... Я не верю, чтобы между людьми были вредные...

– Ты не можешь в это не верить! – вспльчиво возразил Шишмарев, одергивая рукава короткой тужурки.

Тоненькая Соня напряженно вздохнула и опять затаилась, не спуская глаз с Ланде.

– Нет, не верю! – покачал головой Ланде. – Если и есть злые люди, то они не вредные люди. Не будь их зла, не могли бы проявиться и вырасти самые лучшие и святые стороны человеческого духа: самоотвержение, прощение, самопожертвование, чистая любовь... то, что должно было явиться и без чего жизнь была бы бессмысленным существованием.

– Благодарю покорно! – с раздражением возразил Шишмарев. – Значит, и зловоние полезно, потому что дает почувствовать свежий воздух?

– Может быть... – улыбнулся Ланде. – Только это совсем не то... и не так просто: человек слишком сложнее, сильнее и прекраснее, чтобы к нему можно было прилагать такие мерки, которые годны для навоза!

– О, Господи!.. Он еще каламбурит! – с комическим ужасом засмеялся Семенов.

– Я... не каламбурую, – это так, случайно вышло, – наивно растерялся Ланде.

– Милый Ваня!.. – тихо шепнула Марье Николаевне Соня и вся расцвела несвойственной ей всегда экзальтированному

лицу светлой улыбкой.

Марья Николаевна свободно вздохнула. То смешное и жалкое, что она видела в Ланде в последнее время и что было бессознательно, страшно тяжело ей, – в этот вечер все отступало и отступало от сердца и вдруг ушло куда-то. И выступило тихое и легкое, радостно-нежное чувство. Она повернула голову к Ланде, посмотрела на его худое, бледное от луны и напряженной думы лицо и сказала себе:

«Это все правда, что он говорит! Одному ему здесь понятная правда!.. Этого нельзя объяснить словами, но это правда... Милый, славный!»

Она покраснела, отвернулась и крепко прижала Соню к себе.

– И когда вам, господа, надоест спорить? – с самоуверенной небрежностью отозвался Молочаев. – Этак вы всю жизнь проспорите... Пойдемте лучше на лодке кататься... Пусть себе каждый живет, как ему вздумается!..

– Святую истину глаголете! – отозвался Семенов и махнул рукой. – Только именно в силу вашего справедливого замечания я на лодке не поеду, а пойду спать.

– И я не могу, сказал Шишмарев, – надо кое-что почитать. Ланде улыбнулся.

– Вы поедете одни, Марья Николаевна, ибо я тоже иду... Мне нездоровится что-то.

Они ушли.

Когда лодка выехала на середину реки, стало как-то осо-

бенно светло и просторно и легко дышать. Соня неподвижно сидела на дне лодки и оттуда смотрела, не отрываясь, на луну.

Вода около лодки казалась черною, тяжелою и бездонною; в темной глубине таился холодный ужас. Марья Николаевна наклонилась через борт, и ей в лицо пахнуло холодным и хищным дыханием глубины. Смутно отразилось ее лицо, казавшееся там бледным и мертвым.

– Ух, страшно! – сказала она, откидываясь.

Молочаев тряхнул головой, засмеялся и запел. Голос, казалось, с вызовом ударился о гладкую мрачную поверхность и отдался где-то далеко на просторе.

– Пароход... – тихо сказала Соня.

Они оглянулись и совсем близко от себя увидели что-то огромное, тяжелое, черное, как бы выросшее из мрака. Черный дым валил колоссальным, подавляющим столбом, пачкая небо и звезды. Красный огонь зорко и хищно смотрел на них.

Слышно было уже, как мрачно и зло бурлила вода.

Резкий медный свист пронизал воздух, наполняя небо, воду, все вокруг и, казалось, даже внутри, и в ту же минуту огромная тень закрыла от них луну, все покрыла мраком, ударила тяжелой и холодной волной и окутала удушливым дымом, смешавшимся с брызгами и волнами взбаламученной глубины. Лодку бросило, ударило, накренило в какую-то страшную влажную бездну, и одну минуту казалось, что они

тонут. Но в то же время тень пролетела, луна выскочила и опять остановилась светло и неподвижно над водой, теперь крутившейся и сверкавшей в диком веселье.

– Хорошо! – с восторгом крикнул Молочаев.

– Хорошо! – звонко отозвалась Марья Николаевна, прижала руки к груди и, сверкая молодостью и свежей силой, прибавила: – Сердце так и упало... Я думала, тонем... Смерть!..

– А я не испугалась! – неожиданно и спокойно отозвалась Соня. – Не все ли равно, когда умирать!.. Я не испугалась.

Молочаев с комическим удивлением вытаращил глаза.

– О, Господи... Маленький Ланде! Довольно и одного!..

Марья Николаевна взглянула на него, и он показался ей таким сильным и красивым, что она глубоко вздохнула и засмеялась ему в тон.

– Вы не можете понять Ланде! – возразила враждебно и уверенно Соня.

Молочаев презрительно тряхнул головой.

– Может быть... Еще бы! А зато жизнь, любовь, красоту я понимаю... всем существом своим... Да здравствует жизнь, сила, молодость, красота!.. Марья Николаевна, правда?

Марья Николаевна напряженно вздохнула и со счастливою тоской жадной и ждущей молодости тихо и сильно потянулась.

– Да... правда... – ответила она тихо и странно.

– Ау!.. – дико, страстно и бессмысленно счастливо крик-

нул Молочаев, и бесконечно далеко понесся над водою его зовущий таинственный крик.

Волны медленно и плавно, блестя и колыхая лунный столб, подымались и опускались вокруг лодки.

XII

В саду было темно и крепко пахло теплой сыростью. Не было видно отдельных деревьев и кустов: они были слеплены в одну глубокую темную массу, в которой тихо и таинственно, неподвижно светились светляки, точно крошечные белые свечечки перед темным престолом ночи.

Молочаев и Марья Николаевна прошли в темноте, нащупывая ногами невидимую твердую дорожку.

– Сядем, – здесь лавочка... – сказала Марья Николаевна, и голос ее резко отделился от напряженной тишины сада.

Они так же ошупью, как шли, нашли скамью и сели рядом.

Белые свечечки по-прежнему тихо светились в глубине мрака. Молочаев наклонился и в мокрой теплой траве нашел и поднял светлячка. Голубоватый фосфорический свет, исходивший из изумрудной бриллиантовой точки, осветил его широкую и сильную ладонь. Марья Николаевна наклонилась, и головы их сблизились в слабом свете.

– Не потух... – тихо сказала Марья Николаевна, точно боясь испугать неподвижно лежавшего и тихо светившегося червячка.

Тихое дуновение ее слов мягко и слабо коснулось щеки Молочаева. Он поднял глаза и в прозрачном свете увидел ее тонкий и нежный профиль и верхнюю часть выпуклой груди.

Что-то мягко и близко упало где-то в траву, и слышно бы-

ло, как чуть-чуть закачалась ветка. Они вздрогнули и оглянулись. Молочаев осторожно стряхнул светлячка в траву, и снова стало темно и еще гуще пахло теплыми влажными травами.

Мягко вздрогнуло и сладко заняло в груди Молочаева властное таинственное влекущее чувство, и ему показалось, что он слышит напряженные зовущие удары ее сердца. Перед ним смутно белела тонкая склоненная женщина и в темноте казалось, что она далеко; но тонкий раздражающий запах ее тела и сухих волос близко и горячо обдавал лицо Молочаева. Тишина становилась все напряженнее, мрак сгущался, и все отодвигалось куда-то, окружая их тьмой и пустотой, в которой были только они, их тянущиеся друг к другу сильные раздраженные томящиеся тела. Все ближе и ближе сокращалось расстояние между ними, и из мрака выступали они, точно окруженные своим таинственным, одуряющим светом, тихим, как ночь, напряженным и дрожащим, как желание. Белые свечечки светили где-то далеко-далеко, в глубине обступившего мрака. Молочаев тихо протянул руку, скользнул по вздрогнувшему мягкому телу и обнял его, тонкое, нежное, жгучее и бессильное. Она медленно закинула голову, так что невидимые мягкие волосы упали на плечи и на руку Молочаева. В сумраке мутно и близко-близко блеснули полузакрытые глаза и задрожали влажные горячие губы. И казалось, неодолимая сила слила их в одно и нет между ними ничего, кроме бесконечного сладкого и мучительно

трепетного желания.

И вдруг мрак блеснул тысячью огней, загудел звуками, отступил и пропал среди выступивших деревьев, кустов и насмешливых ночных огоньков: Марья Николаевна вырвалась из рук Молочаева, извившись, как красивая и злая змея, и звонко, насмешливо засмеялась, отскочив в сторону. Дробные и звонкие звуки ее смеха, прыгая, понеслись далеко по саду и резко разбудили его.

Молочаев недоуменно и сконфуженно встал и медленно расправил свое огромное, тяжелое, еще сладко нывшее и дрожащее тело.

– Марья Николаевна... – глухо и дрожа, сказал он. – Что за шутки!..

– Что? – притворным и, как показалось ему, злым и насмешливым голосом спросила Марья Николаевна. – Какие шутки? Что случилось?..

Звонкий русалочный смех ее опять задробился и зазвенел в темноте, и слышны были в нем дикая боязнь и любопытное желание.

Тяжелое, мстительное и животное чувство выдавилось откуда-то снизу в голову Молочаева. Волосы слиплись на его горячем лбу, в глазах поплыл туман, голова тихо и тупо пошла кругом.

– А!.. – хрипло сказал он, упрямо опустив голову, как бык, и двинулся к ней, все забывая, уходя от всего и видя только ее одну, манящую, изгибающуюся, дразнящую. Все су-

щество его знало, что она хочет так же, как и он, и только боится, дразнит, упрямится. И жгучее желание смешалось с внезапной сладострастной ненавистью, жаждой грубого насилия, бесконечного унижения и бесстыдной боли.

– Ну, ну, ну!.. – испуганно и задорно крикнула девушка и ударила его по руке какой-то мокрой, колючей веткой, брызнувшей ему в лицо холодными каплями.

– Идем лучше домой... Вы сегодня чересчур... опасны! – дрожа еще и торжествуя уже над ним, сказала она; и с тем жгучим наслаждением, с каким человек заглядывает в пропасть, девушка, издеваясь, взяла его под руку.

И они пошли. Она снизу заглядывала ему в лицо, насмеялась над его бессилием, брызгая на него росой и искрами нервного, раздражающего смеха; а он покорно, трусливо, сдавливая в себе желание смять, бросить ее на траву, подчинить, уничтожить своей силой и страстью, шел неловкий, распаленный и дикий.

XIII

Ночь прошла жаркая, душная, полная странных, томительных снов, разгоряченной, властной, неудовлетворенной крови. Только на рассвете заснула девушка спокойным, тихим, мягким сном, но проснулась рано, в солнечное утро. Целый поток ясного света, свежую воздуха, омытой росой, радостной зелени рвался в окно, наполняя комнату бесконечно легким ослепительным светом радостного утра.

Подушки были смяты, простыни свесились на пол, рубашка сбилась с плеч, открыла нежные мягкие ноги и туго обвилась вокруг круглого и полного, тонкого, поднимающего ее белыми волнами, молодого тела. Черные волосы развились, руки закинулись за голову нежащимися гибкими движениями. Глаза смотрели радостно и вопросительно, и было в темной глубине их какое-то смутное и в то же время определенное ожидание.

Ей было стыдно и странно, и жгуче интересно то, что произошло вчера; розовые пальцы маленьких полных ног тихо шевелились, и в том, что это было одно, чуть заметное движение во всем замершем, напряженном воспоминании, роскошном, свежем, гибком теле, — было что-то сильное и упрямое.

Она медленно опустила глаза, увидела все свое тело, медленно скользнула по нему и вдруг сама, не зная почему, с

приятно и пугливо толкнувшись сердцем вздрогнула, вско-
чила и, стоя во весь рост, полуголая, нежная, розовая и бе-
лая, гибко и страстно потянулась.

Ночевавшая у нее Соня открыла глаза и, не двигаясь, ма-
ленькая и щуплая под сереньким одеялом, посмотрела на нее
пытливо и серьезно, как будто знала и обсуждала то, что в
ней происходило.

Марья Николаевна увидела ее открытые темные и строгие
глаза, вздрогнула уже испуганно и больно и также, сама не
зная почему, бросилась к ней, обхватила ее худенькое тело
полными голыми руками и придавила мягкой упругой гру-
дью.

– Ах, Сонька, Сонька! – пряча лицо, сказала она радостно
и стыдливо, – хорошо жить!

Соня подняла бледную растрепанную голову, подумала и
серьезно сказала:

– Не знаю...

Марья Николаевна посмотрела на нее невидящим углуб-
ленным внутрь себя взглядом, потом засмеялась с сожалени-
ем и превосходством.

– Глупая ты еще, Сонька!.. И ничего ты не понимаешь!

Соня поднялась и села, опустив тоненькие голые руки.

– Все я понимаю! – с непоколебимым убеждением возра-
зила она, – а только не умею сказать иногда!.. В жизни важно
только великое!

Марья Николаевна стала раскачивать ее за плечи, глядя

не на нее, а на то, как переливалась и двигалась тонкая голубоватая кожа на сгибах ее вытянутых розовых рук.

– И чего ты, Сонька, такая смешная... серьезная?

– Серьезная – не значит смешная... То и другое вместе быть не может, – со снисходительным превосходством, точно говоря с шаловливым ребенком, возразила Соня.

– Нет, может! Смешная, серьезная... милая! – вся сияя страстной радостью, нараспев говорила Марья Николаевна. – Ты, верно, никогда другой и не будешь... И жить не будешь!

– Я знаю, как буду жить... – задумчиво ответила Соня.

– Как?

– Я знаю... Особенно... как только и стоит жить, чтобы... подвиг... Буду жить, как Ваня... – торжествуя докончила Соня и вдруг страшно, до слез покраснела, и стала удивительно нежной, хорошенькой, милой девочкой, которую хотелось целовать, с теплыми слезами и смехом.

И Марья Николаевна целовала, смеялась, тормошила ее, и обе они валялись и путались в белых простынях, полуголые – одна гибкая, сильная и упругая, другая тоненькая и хрупкая, – как две расшалившиеся дикие прекрасные самочки какого-то сильного счастливого зверя.

XIV

В этот день Семенов с дневным поездом уезжал в Ялту, где было, как говорили доктора, которым он не верил, но хотел верить, его спасение. Все собрались его проводить.

Семенов чувствовал себя очень плохо. Его уже не веселили ни солнце, ни тепло, ни люди, ни небо, ни зелень. Ноющее, бесконечное страдание наполняло и окружало его, как какой-то особый тяжелый туман, сквозь который плохо и тускло видел он все окружающее. Он уезжал равнодушный и холодный, как будто тело его уже умерло, а дух был погружен куда-то внутрь, в бездонную глубину одинокою страдания. Он не был рад, но и не раздражался, оттого что его собрались провожать. Ему было все равно. Один Ланде его заботил, и так странно было видеть это непонятное, озабоченное внимание, как улыбку на лице неподвижного холодного покойника.

– Ты, Ланде, оставайся и живи тут! – сухо покашливая, говорил он. – А что же ты есть будешь?

– Как-нибудь... – улыбаясь, успокаивал его Ланде и, шутя, прибавлял: – Взгляните на птиц небесных: не сеют...

– Ты дурак! – сердито возразил Семенов: – ты не птица... Ведь тебя не накорми, так ты с голода подохнешь. Удивительное дело!.. На месте Господа Бога я бы тебя давно взял живым... и посадил в сумасшедший дом.

Ланде смеялся заразительно весело и добродушно. Милый Вася, ты лучше всех людей, каких я встречал...

– А ты глупей... – болезненно и нетерпеливо махнул рукой Семенов. Он помолчал.

– Шишмарев обещал тебе урок достать. Ну, вот и хорошо! – обрадовался Ланде.

– Только это очень трудно: ты ведь уже на весь город прославился...

Пришли Шишмарев и Молочаев.

– Едете? – безразлично спросил художник.

– Конечно! – с тусклой неприязнью ответил Семенов.

– Урок для Ланде я нашел, – сказал Шишмарев таким голосом, точно сомневался в чем-то.

– Ну, вот... слышишь? – посмотрел на Ланде Семенов.

– Скоро пора и на вокзал... – заметил Шишмарев, озабоченно посмотрев на часы.

Когда Семенов вышел куда-то, Молочаев равнодушно сказал:

– Куда он едет? В Ялту? На какие средства?

– На кондицию... – ответил Шишмарев, пожав плечами. – Дело студенческое!

– На урок? – удивился Молочаев, и на минуту тень жалости налетела на его лицо. – Куда ж ему на урок? Его ветер с ног валит!

Ланде встал, схватился за щеку, как от внезапной боли, потом опять сел.

– Э, что! – сказал Шишмарев, точно ему было даже приятно это сказать, – нашему брату, голяку, нельзя такими нежностями заниматься! Пока еще не свалил? – ну, и ладно!

Под окном мелькнул черный ажурный зонтик и другой розовый.

– Марья Николаевна и Соня идут! – сказал Ланде.

Они вошли вместе с Семеновым. Соня вошла серьезно, тихо и, сложив зонтик, чинно села против Ланде, в уголок. Марья Николаевна возбужденно и смущенно смеялась, мельком поздоровалась и осталась посреди комнаты, вертя по полу раскрытый зонтик, смеясь, блестя глазами и голыми руками, тепло розовевшими в белых холодных широких рукавах, и не глядя на Молочаева.

Когда она вошла, Молочаев почувствовал, как стала дрожать под коленом какая-то нервная жилка. Он тоже встал и прислонился к окну, только изредка взглядывая на нее быстрыми и жадными глазами.

Приехал извозчик. Слышно было, как дребезжал тарантас и фыркали лошади.

– Ну, идем! – сказал Семенов равнодушно.

Все вышли гурьбой на солнце и воздух, слепившие глаза. Марья Николаевна раскрыла зонтик.

Ланде хотел было нести чемодан, но Молочаев сказал:

– Куда вам! – Взял чемодан как перо и, с наслаждением выказывая свою страшную силу, понес его. Марья Николаевна мельком взглянула на него и опять стала смотреть на

Семенова. Сутулый, больной студент уже сидел в тарантасе в своем выцветшем зеленоватом, с тусклыми позеленевшими пуговицами пальто, надвинув фуражку на уши.

– Ну, прощайте! – сказал он уныло.

– До свиданья! до свиданья! – кричали ему молодые оживленные голоса.

– Да, стой! – остановил он извозчика. – Так ты, Ланде... А впрочем, какое мне дело? Как хочешь! Прощай! – вдруг раздраженно и неприятно перебил он сам себя и поехал.

Его сутулая неказистая фигура долго тряслась по улицам, темная и странная, и казалось, что среди яркого дня, блеска и радости, на него одного не светит яркое, теплое солнце... Соня тихо плакала.

– Я вас провожу, Марья Николаевна! – сказал Молочаев, и в голосе его почудилось ей что-то властное, уверенное.

Какой-то особенный, странный, шаловливый и в то же время искренний испуг овладел ею.

– Я останусь здесь с Соней... – растерянно ответила она, хотя вовсе не думала раньше об этом.

Молочаев густо покраснел, и опять сладострастно-мстительное чувство медленно поднялось в нем.

– Вот хорошо! – радостно сказал Ланде. – Мне именно с вами хочется теперь говорить!

Молочаев быстро посмотрел на него, и вдруг тошная и внезапная ревность заставила его сжаться всем своим могучим красивым телом в бессильную и безобразную злобу.

– Как хотите... До свидания! – хрипло, не своим голосом проговорил он. – Идемте, Шишмарев!

Они ушли по яркой, жаркой улице.

В комнате Семенова было пусто и прохладно. Марья Николаевна села на окно в сад, Соня обняла ее за мягкие колени, а Ланде стал возле.

Почему вы именно со мной хотели говорить? спросила Марья Николаевна, улыбаясь.

Ланде тоже смущенно и радостно улыбнулся.

– Потому, что вы такая молодая, красивая, добрая, именно с вами хочется говорить теперь... Солнце светит так тепло, так хорошо...

Марья Николаевна счастливо и светло засмеялась.

– Будто я такая?

– Конечно, такая! – с наивным убеждением повторил Ланде. – И как это хорошо!

– Что?

– То, что есть такие, как вы, красивые, нежные молодые женщины! – восторженно говорил Ланде. – Мне всегда кажется, что Бог дал людям женскую молодость, красоту и нежность, чтобы они не унывали, не забывали о радости и любви, пока еще тянется их ужасная, тяжелая, беспросветная работа над жизнью.

Соня не спускала с него глаз, и бледные щеки ее розовели и оживали под звуки его голоса.

– Значит, когда закончится эта работа, тогда уже не будет

таких женщин? – задумчиво и с нежным вниманием спросила Марья Николаевна.

– Нет, почему? – радостно возразил Ланде. – Они останутся... такие же прекрасные, только тогда все они и все будет такое же прекрасное, молодое и нежное. Тогда уже все будет ясно, светло, а теперь они – только луч оттуда, из светлого будущего.

Ланде помолчал и прибавил печально:

– Мне жаль почему-то... не знаю, может, это дурное чувство... когда молодая, радостная девушка сходится с одним мужчиной... таким жадным, грубым... Мне и радостно за его счастье и жаль. Точно кто-то взял, потушил или унес яркий огонек, светивший всем... Я, впрочем, думаю, что это не от дурного чувства... это потому мне жаль, что слишком мало таких огоньков у людей...

– Да ведь иначе же и быть не может! – тихо возразила Марья Николаевна, опуская голову. Ей казалось, что он именно о ней говорит.

– Да, да, – торопливо согласился Ланде, – не может!.. Мне только жаль, что эта молодость и красота не могут быть общим достоянием. Впрочем, люди думают, что это дурно... Я не знаю... может быть...

Было тихо и светло. Чистый прозрачный воздух серебрил каждый звук и облекал радостью каждое дыхание. Марья Николаевна подняла на Ланде глаза, и что-то странное мелькнуло в ней: на одно мгновение ей страстно и радостно, как

никогда, захотелось жизни и показалось, что она может и будет любить всех, всем давать наслаждение, радость, свет и веселье, свою молодость и красоту, свое прекрасное сильное тело. Это мелькнуло и исчезло, а осталась, как глубокая борозда, задумчивая нежность, тихое влечение к тонкому, тихому, прекрасному глазами, слабому человеку, стоявшему перед: ней. Ланде ясно и радостно смотрел на нее, и в это мгновение в ней в первый раз появилось смутное, тихое и таинственное желание слиться с ним. Легкая, стыдливая и светлая мысль скользнула вперед и осветила, как солнце, это грядущее слияние ее богатого тела с тем странным и мечтательно прекрасным, что было в его душе. Предчувствие бесконечного счастья неудержимой волной нахлынуло на нее умилением и истомой.

Марья Николаевна гибко повела полными круглыми плечами. Соня вдруг чуть-чуть, точно хрустнула, пошевелилась внизу у ее колен.

– Никогда в жизни мне не было так странно и хорошо! – невольно вслух проговорила Марья Николаевна.

– Вам всегда должно быть так хорошо! – сказал Ланде с влажными глазами. Ведь это такое счастье чувствовать в себе такую красоту, чувствовать ту радость, которую доставляешь всем!

– Не всегда! – чуть слышно возразила Марья Николаевна, закидывая голову и опираясь затылком о холодный твердый косяк окна.

Это потому, – сказал Ланде, – что люди на свое же горе не понимают, какое это богатство и радость женская молодость и красота. Они относятся к ней грубо, небрежно... Если бы они понимали, они бы всю силу употребили, все лучшие силы своей души, чтобы не было горя, ничего грубого, жестокого и злого вокруг нее. И как бы это облагородило, осветило их жизнь, как было бы легко работать и ждать!

– Ланде! – резко крикнул со двора Шишмарев. – Где ты?

Все вздрогнули, и всем было тяжело и странно очнуться. Ланде торопливо вышел. Слышно было, как Шишмарев резко, точно торгуясь, говорил ему:

– Мы пришли за тобой. Мать того гимназиста, которого я тебе нашел, просила привести тебя сейчас поговорить.

– Я сейчас... – машинально и как будто грустно ответил Ланде.

Марья Николаевна глубоко вздохнула, тихо обняла Соню за тоненькую шею и притянула к себе.

– Маня... – значительно и торжественно позвала Соня.

Марья Николаевна молча посмотрела ей в глаза. Они были близко от нее. Темные, решительные, полные неестественного подъема и восторга.

– Я хотела тебе сказать... также торжественно продолжала Соня. – Выйди замуж за Ваню!

Легкий, приятный и быстро растаявший румянец покрыл щеки девушки. Она молча и нежно поцеловала Соню в высокий холодный лоб с гладко причесанными, легкими как воз-

дух, волосами.

Вошел Ланде.

– Надо идти! – с сожалением сказал он.

– Я с вами... – как-то особенно, долго и глубоко посмотрев ему в лицо, отозвалась Марья Николаевна, и встала, поправляя волосы. В ней было решительное, спокойное и полное чувство.

На крыльцо она вышла за Ланде и вдруг увидела рядом с Шишмаревым красивое, жесткое и немного бледное лицо Молочаева, упорно, прямо смотревшего на нее. Она отвернулась с досадой и сожалением.

«Как это я могла вчера!..» – с досадой мелькнуло у нее в голове.

Соня, оставшись одна, долго, неподвижно смотрела в окно, и зелень сада расплывалась у нее в глазах. Потом она встала, судорожно вздохнула, отвернула легонький рукав платья и изо всей силы укусила свою бледную тоненькую руку. На бледной тонкой коже выступили два ряда белых пятен. Соня долго и упрямо смотрела, как белые пятнышки быстро наливались кровью и образовался маленький багровый венчик.

XV

Поздно вечером, когда синие сумерки уже затихли за городом и пыль улеглась, было тихо и хорошо. Ланде один шел с урока, опустив голову, и думал:

«Пятнадцать рублей... Пять мне совершенно достаточно, а десять надо послать Васе... Только он сердиться будет!..»

Ланде мучительно потер лоб.

«Надо написать ему, что у меня два урока...» – придумал он и обрадовался.

Совсем уже стемнело, и все казалось мягким и милым. У открытого окна, черневшего темной пустотой, сидела мать Ланде. Скорбь и одиночество были в ее чуть видной, расплывающейся в темноте комнаты, фигуре – старой и унылой. Ланде узнал ее еще издали, и сердце его больно сжалось. Он видел ее в первый раз после того, как она сказала, что не желает знать его до тех пор, пока он не переменит своих дурацких взглядов на жизнь. Когда она кричала это пронзительным, чужим голосом, Ланде было больно и неприятно смотреть на нее. Он ушел от нее с великой скорбью и с каким-то испугом, и все ему чудилось, что кричит не она, а кто-то другой, внутри ее, злой и мелкий. И после этого он боялся идти к ней, ему казалось, что она опять будет кричать не своим голосом и что от этого ей самой будет мучительно и страшно.

Но когда он увидел ее, одинокую и согнутую, все суще-

ство его переполнилось светлой нежностью и жгучей жалостью. Ланде перепрыгнул канаву и, вскочив на карниз, молча обнял мать. И она не сказала ни слова, только радостно заплакала и стала целовать его голову, прижимать ее к мягкой старческой груди и мочить теплыми слезами его лицо.

– Мама моя, мама! – тихо прошептал Ланде, и губы его ловили дрожащую от нежности и радости руку.

– Милый мой, золотой мой мальчик! – ответил ему на ухо бесконечно дорогой всхлипывающий голос.

И тесно слились их души в любви.

– Ты не уйдешь больше... не бросишь свою маму?.. – спрашивала она его.

– Не уйду, никуда не уйду, мама! – всем сердцем отвечал он.

Ночь наступала тихо и незаметно. Ланде все стоял на карнизе, и ему было хорошо, тепло и казалось, что больше ничего, кроме этой тихой, сладкой любви и ласки не нужно ему во всем свете.

Кто-то черный, большой подошел с другой стороны канавы и спросил:

– Иван Ферапонтович, это вы? Ланде оглянулся, узнал Молочаева и соскочил на тротуар.

– Я сейчас, мама!.. – торопливо сказал он и, перескочив канаву, спросил:

– Я... Что такое?

Молочаев дышал глухо и тяжело и казался мрачным и

смущенным.

– Мне надо сказать вам два слова! – с усилием сказал он. –
Пройдемся!

– Пожалуйста! – охотно согласился Ланде.

Они пошли по темной и пустой улице. Молочаев все так же тяжело дышал и напряженно смотрел перед собой.

– Я хотел вам сказать... Вы помирились с матерью? –
неожиданно для самого себя спросил он.

Ланде улыбнулся.

– Я с ней и не ссорился.

– Ах, да... я и забыл, – зло кривя губы, сказал Молочаев, –
что вы ни с кем не ссоритесь, никому не мешаете, никогда...
А вот я хотел сказать именно, что вы мне мешаете! – с уси-
лием, но со все возрастающей злобой сказал он.

– Разве? – печально спросил Ланде. Звук его голоса, ти-
хий и серьезный, раздражал Молочаева каким-то смутным
стыдом.

– Не ломайте, пожалуйста, дурака! – грубо крикнул он,
останавливаясь. – Отлично вы знаете, о чем я говорю!

Ланде тоже остановился.

– Не кричите на меня... – страдальчески сморщившись,
возразил он. – Я, право, не хотел...

Но мутная и бешеная волна злобы, неловкости и стыда
подхватила Молочаева и завертела, как щепку.

– А я вам скажу, – зловеще, сквозь стиснутые до скрипа
зубы, все громче и громче заговорил он, размахивая перед

лицом Ланде ручкой хлыста, – что... если вы станете у меня на дороге, я вас... как тряпку сброшу!.. – Молочаев задохнулся, быстро повернулся и пошел прочь.

– Я ничего не понимаю... – тихо и печально сказал Ланде.

XVI

В городском саду было гулянье. В темно-зеленой массе деревьев, как сказочные огненные цветы, неподвижно пламенили разноцветные пятна фонарей. Играла военная музыка. И медные звуки ее наполняли зеленую тьму крутящимися в диком танце звонкими призраками. Они отдавались под деревьями и в самом конце сада, отдельные, звонкие, торопливо проносились по темным пустым аллеям, догоняя друг друга, то в воющей металлической тоске, то в бешено-резком веселье. Людей было мало, и в длинных аллеях было пусто, и казалось, что неподвижные огненные цветы освещают дорогу только одиноким звукам, невидимо несущимся мимо.

На главной аллее и на площадке около оркестра и буфета было светлее, проще и спокойнее. Музыка здесь гремела так близко, что в ее оглушительном реве не было слышно ничего, кроме шума. Огни сливались в яркий желтый свет. Толпа ходила тесно, со смехом, говором и пестротой. Пахло пудрой, стеариновой гарью и духами.

Марья Николаевна и Ланде пришли вместе. Эти две недели она почти не отпускала его от себя. В его присутствии ей было так просто, ясно и тихо и ей казалось, что она любит его нежно и спокойно. Ланде всегда говорил без умолку, тихо и хорошо, и никогда не видно было в нем желаний и страсти. И она никогда не заговаривала с ним о любви, но в глу-

бине ее души, где-то внутри роскошного, сильного тела тихо и смущенно тлело томительно сладкое ожидание чего-то светлого и прекрасного. И в глазах ее, когда она смотрела на Ланде, видно было это кристально чистое, покорное и радостное чувство.

Она давно не видела Молочаева. Сначала он пытался заговорить с ней, напоминая грубо и сильно ту страшную и жгучую ночь; а потом, когда она пугливо отшатнулась от него, он стал грозить своим отъездом, и в самом деле уехал куда-то. Она вздохнула тогда свободнее, но, когда узнала, что он вернулся, что-то похожее на тревожную радость и любопытство проснулось в ней. Она беспокойно смотрела вокруг, точно желая увериться, что этого чувства никто не видит. Оно доставляло ей много мучительного и странного.

«Что же такое! Неужели я такая развратная? – мелькнуло у нее в голове мучительно и наивно. – Ведь я люблю Ланде... милого, светлого, чистого. Не того же... зверя!»

Она вспомнила Молочаева, и он представлялся ей грубо красивым, отталкивающе разнузданным зверем. Это было страшно интересно, хотя, казалось ей, только гадко. Она думала о нем с отвращением и страхом, в которых было томительное любопытство, раздувающее ноздри, подымавшее и напрягавшее грудь, расширявшее страстные глаза.

В тот вечер, когда он ушел, угрожая отъездом, после спутанного странного разговора, похожего на горячечный бред, в котором слова бросались отрывками, намеками, острыми

раздраженными, лживыми, а глаза говорили правду, Марье Николаевне смутно казалось, что в самом теле ее происходит какая-то борьба: что-то чистое и светлое бессильно захлебывалось в горячих, безумно стремительных и могучих волнах ярко-красной крови. Ночью, когда она раздевалась, у нее явилось неодолимое и стыдливое жгучее желание раздеться донага и долго, с тем же беспокойным любопытством/ смотреть на свое стройное, бесстыдное голое тело, ярким изгибом выступавшее из холодно-темной глубины большого зеркала.

На утро после этого ей было холодно, до боли и ужаса стыдно, и в одиноком испуге, в бессильном недоумении она искала Ланде, звала его, заглядывала в чистые спокойные глаза и тихо успокаивалась под его радостную, бессвязную речь.

Она знала, что Молочаев приехал и что он придет в сад. Последнее она чувствовала по тому тревожному холоду, который подступал к груди и заставлял нервно дрожать ее полные колени под строгой твердой юбкой.

«Он придет... Надо уйти! надо уйти!»... – полубессознательно думала она и не уходила, и ждала, обманывая себя.

«Это оттого, что мне нет никакого дела до него!.. Я только боюсь его... грубости!» – оправдывалась она перед собою и чувствовала, что лжет.

Музыка замолчала. Тишина выступила из-под молчаливых неподвижных деревьев, и слышно было только, как раз-

драженно и оборванно шаркали по песку аллея шаги гуляющих.

– Вы знаете, – говорил Ланде, – что Соня идет пешком на богомолье?

На секунду Марья Николаевна оторвалась от себя и с удивлением посмотрела на него.

– Не может быть? Куда?

– За сто верст... Нашла себе попутчицу, старушку простую, и идет. Она моего совета спрашивала.

– И вы посоветовали?

– Нет. Она так спрашивала, что я видел, что это ей не нужно. Я ничего не сказал, – серьезно ответил Ланде.

– Она в вас влюблена! – с нехорошим, но не заметным ей самой чувством сказала Марья Николаевна.

– Нет! – решительно и спокойно возразил Ланде. – Ей, может быть, и кажется, что она в меня влюблена... Я это заметил. Но это неправда, – она не в меня влюблена, а в... я не знаю, как это выразить... – бессильно улыбаясь, задвигал рукой Ланде. – Она в великое влюблена... Она удивительная девочка, эта Соня! В ней большое сердце и мало любви. Есть такие люди; они несчастные: им все хочется охватить своим сердцем что-то огромное, весь мир, подвиги, муки, и у них не хватает любви, чтобы обнять то маленькое, что возле них...

С того места, где они сидели под неподвижно пламенеющим мрачно-красным шаром, виден был в конце аллеи без-

донный черный прорез ворот. Иногда из их мрака вытягивались, как черные щупальца, длинные черные тени и вдруг пропадали, а в круге света появлялись темные силуэты людей. Марья Николаевна слушала Ланде и неподвижно, напряженно смотрела туда. Она увидела Молочаева, как только он вошел в сад, видела, как он, не видя их, пошел в другую аллею, но не двигалась.

– Молочаев, вот они! – близко сбоку резко прозвенел голос Шишмарева, и они подошли.

Молочаев молча пожал узкую мягкую руку девушки.

Шишмарев сейчас же резко и бойко заговорил с Ланде, Марья Николаевна не слушала их... Она часто дышала, высоко и неровно подымая грудь, и решительно смотрела перед собой. Кончик зонтика бился о землю, напоминая судорожное движение хвоста насторожившейся кошки.

«Что со мной делается?» спрашивала она себя, с капризной досадой закусывая нижнюю губу.

Мне представляется, услышала она как-то вдруг слова Ланде, что люди в погоне за счастьем толпятся у какой-то двери, как толпа во время пожара. Каждому кажется, что спасение в том, чтобы силой, как можно скорее, раньше всех пробиться к выходу, и в страшной давке все гибнут!

– Борьба за существование! – сказал Шишмарев.

– Не должно быть никакой борьбы! – твердо возразил Ланде. – Нельзя выйти, навалив перед собой кучу трупов... Надо опомниться, остановиться, не мешать друг другу, усту-

пая...

– Как те два вежливых француза, что уступали друг другу дорожку и оба шли по грязи! – с холодной злостью, в которой слышалась насмешка не над словами Ланде, а над ним самим, вставил Молочаев и коротко засмеялся.

Музыка заиграла тихо и плавно, точно устав после недавнего вихря звуков.

– Все это сентиментальности! – повышая голос, жестко и грубо продолжал Молочаев. – Жизнь – так жизнь... Не я виноват, если кто слабее меня...

Он помолчал и прибавил:

– Брошу в грязь, на голову стану, а перейду...

Ланде грустно покачал головой.

– Довольно слякоть разводите... Не жизнь, а сонное болото! – упорно проговорил Молочаев.

– А если на вашу голову станут? – не глядя на него, холодно спросила Марья Николаевна. Молочаев быстро повернулся к ней.

– Пускай... Посмотрим! – мрачно сказал он и, помолчав, прибавил: – И то жизнь... Марья Николаевна, мне с вами надо поговорить.

Он неверно улыбнулся, и голос у него зазвучал фальшиво.

– Я вам одну сплетню расскажу про... него! – кивнул он головой на Ланде.

Ланде удивленно поднял глаза.

– Говорите здесь! – пожала плечом девушка. Молочаев

опять фальшиво засмеялся.

– Не могу я при нем... Да вы меня боитесь, что ли? – тихо прибавил он, вызываяще и близко заглядывая ей в глаза.

Марья Николаевна высокомерно и тревожно улыбнулась.

– Идемте! – она встала. – Ланде, вы приходите туда сейчас! – сказала она.

– Хорошо! – ответил Ланде спокойно и опять повернулся к Шишмареву.

Марья Николаевна больно и холодно почувствовала себя одинокой. Ей сделалось страшно. Когда они уходили в дальнюю аллею, бесконечно тонушую в пустоте и мраке, она услышала, как Ланде говорил:

– Человек не тогда будет счастлив, когда заставит уважать свои права, а когда научит любить себя. Но до этого далеко!

Они ушли в глубь сада. Звуки музыки глухо и как-то пусто долетали сюда. Фонари мертво и тускло светили здесь уже обыкновенным ламповым светом. Деревья поредели, и между ними просвечивали звездное небо и холод.

– Что же вы хотели мне сказать? – спросила Марья Николаевна.

Молочаев тяжело дышал.

То, что он решил сделать с ней и что представлялось ему мрачно-красивым и быстрым, под ее намеренно холодным взглядом, перед прямой, одетой в строгое твердое платье фигурой показалось вдруг невозможным, нелепо тяжелым и безобразно грязным.

– Я... – проговорил он и не знал, что говорить дальше; челюсти невольно смыкались, как железные, точно здесь, теперь именно нужно было тяжелое молчание.

Марья Николаевна чувствовала, как приближалась к ней огромная страшная опасность. И странно было то, что именно от этого чувства исчез в ней страх; ей стало легко, было захватывающе приятно и интересно, как над пропастью, хотелось еще ближе заглянуть, почувствовать, и бессознательная мысль яркой вспышкой обожгла ей голову, облив щеки горячим румянцем.

– Ах, как интересна жизнь!..

Молочаев, как бы повинуюсь какой-то посторонней силе, низко нагнулся, хрипло засмеялся и вытянул вперед руки. Марья Николаевна машинально отступила шаг назад, быстро неровно так, что большая черная шляпа сдвинулась на глаза. Ей показалось, что все ухнуло куда-то и сердце упало.

– Марья Николаевна, где вы? – весело позвал Ланде.

Молочаев вздрогнул, опустил руки и растерянно оглянулся.

Марья Николаевна насмешливо взглянула на него и, как бы откидываясь от пропасти, подняла руки к шляпе.

XVII

Было около девяти часов вечера, но еще светло прозрачным легким светом и от яркой зари, и от рано вставшей, еще бледной луны, и от широкой гладкой реки.

Ланде позже других пришел на обрыв, непривычно грустный и молчаливый.

Шишмарев встретил его резким раздраженным голосом.

– Иди сюда! Я получил письмо от Семенова... Это, ей-Богу, глупо! Какого же ты черта чудишь! Семенов пишет, что ты ему прислал десять рублей.

Ланде поднял на него большие печальные глаза.

– Оставь, Леня! – сказал он просто и отвернулся к реке. На его худое лицо ложились ее холодные бледные отблески.

– Как, оставь! – вспылил Шишмарев.

Ланде страдальчески улыбнулся, не поворачиваясь. Шишмарев посмотрел на него, пошевелил губами и отвернулся, чувствуя неловкость и холодную досаду.

«Ну и черт с тобой!» – подумал он.

– Что с вами? Чего вы такой грустный? – мягко и любовно спросила Марья Николаевна, слабо дотрагиваясь пальцами до рукава серой тужурки Ланде.

Ланде быстро обернулся, и глаза его засветились мягкой и ласковой улыбкой.

– Меня мать мучает! – страдальчески сказал он.

Странно просвечивало это страдание сквозь ясную тихую улыбку.

Молочаев с холодной ненавистью скользнул по руке Марьи Николаевны, лежавшей на рукаве Ланде, отвернулся и стал закуривать папиросу.

– Чем? – тихо переспросила девушка.

– А она все требует от меня той жизни, на которую я не способен... Пристаёт, чтобы я деньги взял и ехал за границу; а я не хочу. Мне нечего делать там. Люди везде одинаковы...

– Жизнь другая! – возразил Шишмарев.

– Нет, и жизнь та же, – ответил Ланде, – потому что люди все одинаковы. Я не думаю, чтобы от количества железных дорог, университетов и тому подобного зависела жизнь. Жизнь внутри человека, ее надо только уметь использовать. А впрочем... если бы и была какая-то другая жизнь там, зачем я туда поеду? Я ею и жить-то не сумею...

– Хоть посмотреть! – с внутренним оживлением и пропавшейся страстной мечтой сказал Шишмарев.

– Ну, это было бы дурно с моей стороны... – кротко возразил Ланде, улыбнулся виноватой улыбкой и прибавил: – Нет, вот я бы так просто... ушел куда-нибудь...

– Куда?.. В каком то есть смысле: от людей или так, куда-нибудь отсюда? – с недоверчивым недоумением спросил Шишмарев.

Ланде задумчиво помолчал, подняв глаза к небу и тихо приподняв брови.

– И так куда-нибудь, и от людей... Не совсем, а на время... Мне часто приходит мысль, что каждому человеку надо по временам уходить куда-нибудь от всех в пустыню, что ли... Я так думал всегда, какая огромная штука жизнь и как легко и просто мы к ней приступаем. Оттого, должно быть, она так редко и удается людям. Надо было бы, чтобы каждый человек в известном периоде развития уединялся и сосредоточивался на время в себе самом.

– Вот вы бы сами первый и уединились бы!.. – грубо перебил Молочаев и вдруг весь зло искривился. – Право, хорошо бы сделали!

Ланде долго и серьезно смотрел на него. Потом вздохнул, перевел узкими плечами и тихо сказал:

– Я знаю, что мешаю вам. Мне очень жаль это.

Марья Николаевна быстро и исподлобья посмотрела на него своими блестящими из-под ресниц глазами. Рука ее, мявшая растрепанный букет полузавядших, бледных уже цветов, остановилась, а потом задвигалась нервно и неверно.

– Мне тоже очень жаль! – вызывающе ответил Молочаев своим обычным, твердым и неумолимым голосом.

Как раз в эту минуту шедший по тротуару тонкий черный человек неожиданно быстро свернул с дорожки на траву и, сделав за спиной Молочаева два странных крадущихся шага, стремительно взмахнул тонкой длинной палкой и ударил ею художника по голове.

Острый, как лезвие, ужас сверкнул в мозгу у всех, Ма-

рья Николаевна дико и пронзительно вскрикнула, путаясь в длинной юбке, отскочила к обрыву и едва удержалась там, вся изогнувшись над ним и закрывая лицо руками, Шишмарев уронил фуражку и беспомощно встал. Ланде вскочил, почему-то схватил Соню за руку; а девочка выпрямилась и широко открыла заблестевшие диким любопытством и каким-то жадным чувством глаза. Молочаев не потерялся. Его красивое лицо исказилось от боли, удивления и захватывающего бешенства. Стремительно и ловко он левой рукой перехватил палку, дернул ее книзу так, что Ткачев едва не упал вперед, вырвал и, оскалив зубы, ударил его поперек лица, по голове и по руке.

Обезумевший от боли и бессильной ненависти Ткачев зашатался, роняя шапку и прикрываясь руками. Показалось, что брызнула кровь.

Четвертый резкий и страшный удар попал уже по руке Ланде. Вытянув, точно в припадке какой-то странной болезни, руки к Молочаеву, бледный, он твердо и властно говорил:

– Не надо... не смейте!

И заслонял Ткачева без усилия и сопротивления. Одну секунду Молочаев бешено смотрел ему в глаза.

– Да ты что ж это, наконец! – хрипло проговорил он, судорожно опустив и сжимая палку, и вдруг коротко размахнулся и омерзительно, хлестко и страшно ударил его по щеке.

Ланде покачнулся и страшно побледнел. На глазах у него выступили светлые крупные капли слез, и глаза так широко

раскрылись, что все лицо пропало за их влажным страдальческим блеском.

– Ну, пусть... так... – слабо уронил он концами мокрых дрожащих губ и, непоколебимо прямо глядя в глаза Молочаеву, не двинулся, не отвернулся. Со слепой бессмысленной жестокостью Молочаев, выпустив палку, широко размахнулся, ударил его левой рукой, ступил шаг вперед и ударил в третий раз. Последняя пощечина лякнула еще страшнее, отчетливо и плоско. Ланде пошатнулся назад, споткнулся о скамейку и тяжело, безобразно, как-то боком, бессильно повалился через нее, высоко задрав ноги.

Молочаев круто повернулся, со страшной силой оттолкнул Ткачева и быстрыми твердыми шагами пошел прочь, ни на кого не глядя.

То, что потом произошло, было похоже на тяжелый бред: все сразу дико и нестройно закричали и толпой кинулись к Ланде. Ткачев с выражением ужаса и мольбы на черном мрачном лице поднял его трясущимися руками. Марья Николаевна целовала его бледные дрожащие пальцы. Шишмарев пробовал надеть фуражку, что-то бессвязно крича. Соня обхватывала его тоненькими прозрачными руками. Они метались на краю обрыва, растерянные, как стая странных испугнутых выстрелом птиц.

– Господи! что же это такое? – с бесконечным ужасом спрашивала всех Марья Николаевна и ползала у него в ногах с бессознательным, но ослепительно ярким чувством ви-

ны, с беспредельным восторгом и жалостью, любовью и возмущением. Ее красивое лицо исказилось, волосы развились, шляпа свалилась на спину, серая юбка беспомощно билась в пыли.

– Иван Ферапонтович... простите... простите! – лепетал Ткачев.

Ланде поворачивал к ним сразу опухшее страшное лицо, силился улыбнуться и бессознательно гладил и хватал руки всех своими дрожащими и ослабевшими руками. Глаза у него запухли, из носа и рта текла кровь, на виске грубо налипла земля и раздавленная зеленая трава.

– Это ничего... – с трудом двигая раздутой губой, проговорил он. – Он не хотел меня... Он потом сам будет страдать... Я к нему пойду... подождите...

Соня дико всплеснула тоненькими ладонями, отступила на шаг и, вся засветившись счастливым восторгом, ярким голосом вскрикнула:

– Ваня, вы святой! Ланде слабо махнул рукой.

– Ах, какие вы глупости говорите, Соня!

Ткачев отчаянно схватился за волосы.

Ланде торопливо улыбнулся ему, встал и, протянув руки, пошел. И тут только все увидели, что Молочаев не ушел. Он стоял в десяти шагах от них, заложив руки в карманы, и криво, упрямо усмехаясь, смотрел на Ланде.

Марья Николаевна вздрогнула всем телом и судорожным движением загородила дорогу Ланде.

– Не смейте, не смейте! – с болезненным, мучительным напряжением зазвеневшим голосом закричала она Ланде.

Но Ланде серьезно отстранил ее.

– Вы не знаете, что говорите! – просто сказал он.

А Соня с тем же выражением восторга и наслаждения на лице оттянула ее за рукав.

Ланде подошел к неподвижно стоявшему и в упор смотревшему на него Молочаеву и протянул ему руки.

На его обезображенном лице была жалость. Молочаев туго и густо покраснел. В глазах у него мрачно вспыхнула задыхающая ненависть, и с холодной насмешкой и злостью он проговорил сквозь зубы:

– Трогательная комедия!

Потом быстро и решительно повернулся и, не останавливаясь, ушел.

Ланде долго смотрел ему вслед, потом сразу весь опустился, сел на лавочку и закрыл лицо руками движением горьким и тоскливым.

– Да что же это в самом деле! – с возмущением пронзительно резко вскрикнул Шишмарев. – Дурак ты, что ли!

В собравшейся возле них пестрой кучке народа захихикали радостно и любопытно. Шишмарев опомнился, быстро оглянулся, с бешенством повернулся и торопливо пошел прочь.

– Черт с тобой, болван... блаженный! – с мучительным ему самому озлоблением бормотал он.

Ткачев, опустив руки, точно его вдруг облили холодной водой и он опомнился от непонятного кошмара, странно посмотрел на Ланде, и его тонкие злые губы кривились.

– Ни-и к чему все это... – с тонкой язвительностью неожиданно проговорил он, как будто отвечая и предостерегая Ланде.

Все молчали и стояли вокруг Ланде. Страстный порыв, охвативший всех, бессильно упал, стало холодно, неловко, нелепо, захотелось уйти, прекратить эту уже казавшуюся безобразной сцену.

XVIII

К ночи у Ланде начался жар. Избитая голова мучительно ныла и кружилась. Шишмарев думал, что можно ожидать нервной горячки, а потому Марья Николаевна и Соня решили просидеть над ним всю ночь. Ланде ласково смотрел на них и молчал, потому что душа его была переполнена огромным, ему одному понятным чувством. Они долго сидели обе по сторонам стола, положив перед собой книги, которых не читали, и тоскливо глядя на огонь лампы. Уже поздно ночью Соня ушла, а Марья Николаевна осталась одна.

Соня остановилась в темном коридоре. Ее никто не гнал, но ей хотелось муки и умиления и потому она прижала руки к груди и тихо одними губами прошептала:

– Пусть она, пусть... я уйду! – И что-то торжествующе и сладко-мучительное оборвалось в ее сердце.

В комнате было полутемно и как-то глухо. Лампа тускло освещала ровный круг, и Марье Николаевне он казался почему-то магическим. Она сидела, сложив руки на коленях и опустив голову. Сидела неподвижно, но в этой неподвижности клубился целый ураган тяжелых и нестройных мыслей. Она думала о том, что теперь все кончено: весь город завтра узнает, что она всю ночь просидела здесь, и тогда будет что-то ужасное, холодное и грязное. Ей долго было только страшно и стыдно, но потом все ярче и торжественнее стала

определяться мысль, согревающая душу: отныне, наконец, она навсегда связана с Ланде, с милым Ланде, лучшим из всех людей, которых она знала. Она будет такою же чужой всем, как и он, но ему будет принадлежать всем телом и всею душою своею, и жизнь новая, прекрасная, полная страдания и радости, опустится на них светлым облаком. И мысль эта была так тепла, так просто и властно выводила ее из тяжело-го хаоса, что сердце задрожало в ней любовью и счастьем.

Марья Николаевна повернулась к Ланде и долго с теплыми слезами на прекрасных лучистых глазах смотрела на него.

Ланде лежал, как его заставили, на кровати, бледный, худой, с длинными белыми руками, вытянутыми поверх одеяла. Свет лампы не доходил до него, и вокруг кровати стоял прозрачный сумрак, в котором лицо Ланде казалось светлым и красивым. Разбитая обезображенная щека была в тени.

И вдруг, повинувшись какой-то неодолимой силе, тянущей душу и тело в жаркой тоске, Марья Николаевна медленно опустилась перед кроватью на колени, наклонилась над ним, тихо положила свою красивую черную голову ему на грудь и закрыла заблестевшие темным огнем глаза.

«Вот оно!» – почему-то подумала она, и показалось ей, что вся прежняя половина ее жизни, пустая и бессмысленная, сразу, словно высохший лист, отвалилась от нее. Все поплыло вокруг нее в светлом облаке, и слезы градом покатились по нежной пухлой щеке.

Сердце Ланде билось где-то близко, слабо и глухо. Она слышала незнакомый странный запах его тела и чувствовала костлявую твердую грудь.

Ланде открыл глаза и как будто не удивился. Он тихо и осторожно взял ее за маленький, выпуклый и мягкий подбородок и поднял ее голову к себе. Она уже не плакала, слезы сразу высохли на блестящих глазах, и она счастливо и смущенно смотрела на него в ожидании того, что он сделает с ней. Еще немного потянулась она, и мягкие горячие губы прижались к губам Ланде. Ланде ласково и нежно поцеловал ее, как ребенка.

Девушка чувствовала, как внутри ее загорается что-то огненное, сильное, безграничное. Это новое, но уже как будто знакомое и приятное чувство наполнило ее давно ждущее, горящее от силы тело. Она закрыла глаза и сначала робко, точно узнавая что-то, а потом все крепче и длиннее, вся в наслаждении и томлении стала целовать его. Мягкое упругое тело ее вздрагивало и жалось к нему покорно и требовательно.

Вдруг она быстро открыла глаза, потускневшие, вопросительные, и пристально взглянула в глаза Ланде. У него было холодное, испуганное, уничтоженное лицо, казавшееся теперь безобразным.

– Не... не надо... так! – растерянно улыбаясь бессильной улыбкой, проговорил он.

Сознание непоправимой омерзительной ошибки острым

светом вошло в мозг девушки. С секунду она смотрела на Ланде пристальными, полными стыда и отчаяния глазами, и яркая резкая краска быстро стала заливать ее лицо. Щеки, лоб, шея ее вспыхнули, и, казалось, нег конца красному огню стыда и обиды. Она глухо охнула, откинулась назад и порывисто встала, закрывшись руками.

Ланде растерянно поднялся на кровати.

– Марья Николаевна, разве это... непременно нужно?... Я люблю вас... только не так! Зачем это? – жалко и мучительно бормотал он, простирая к ней дрожащие руки.

Девушка отступила от них к столу и тяжело села на стул, не опуская рук. Потом она стала биться, как подстреленная птица, то хотела встать и уйти, то опять садилась, бессмысленно улыбаясь; и глаза ее то с отчаянием и стыдом, то с каким-то внутренним недоумением, то виновато, то с ненавистью скользили по Ланде.

– Ничего... Это так... Ошибка... я пошут... не знаю... – старалась говорить она, чувствуя, как все дальше и дальше отодвигается от него в пустоту одинокого стыда и холодной ненависти.

Соня тихо вошла на шум и остановилась на пороге, глядя большими суровыми глазами.

– Маня, что с тобой? – строго, как будто предостерегая, спросила она.

– Ничего, ничего, Соне-чка! – обрываясь, выговорила девушка. – Я ухожу... мне пора...

Путаясь в юбке и неловко стукнувшись плечом о дверь, она вышла из комнаты и как призрак побежала по пустым, холодным улицам, сквозь ветер и тьму. Соня, выпустив ее, осторожно заперла дверь и подошла к Ланде.

– Соня, милая... как я виноват! Что мне теперь делать? Как я не предусмотрел этого! – говорил Ланде, хватая ее за руки.

Соня крепко сжала зубы, так что на ее прозрачном личике жестко выдвинулись тоненькие скулы, и чувство недоброй радости засветилось в ее глазах.

– Вы ни в чем не виноваты! – твердо и решительно проговорила она и со злым торжеством прибавила: – Они все твари, звери... и она такая же тварь!

Ланде с отчаянием всплеснул руками.

– Я их всех ненавижу! – мстительно прищурил глаза, сказала Соня. – Какие они все пошлые, грязные... как собаки!..

Ланде, широко раскрыв глаза и рот, с нескрываемым страхом смотрел на нее, и ему казалось, что это не Соня, а какой-то маленький злобный дух.

XIX

Скандал на бульваре взмыл слюнявую, грязную и липкую, как болотный дух, волну возбужденной сплетни. Имя Марьи Николаевны трепалось по всему городу в связи с именем Ланде, и куда бы она ни приходила, ее встречали с острым любопытством и худо затаенным радостным презрением. Загнанная, потерявшаяся девушка металась из стороны в сторону, бессильно стараясь победить что-то грязное и холодное, невидимо окружавшее ее. Иногда наступало молчаливое отчаяние, ей казалось, что вся жизнь пропала, и тогда в наступившей тишине, вырастая, как огненный цветок, из стыда, отчаяния и чувственной обиды, в ней подымалась жгучая ненависть к Ланде.

Но когда он в первый раз пришел к ней, все-таки в душе ее шевельнулась смутная надежда на то, что все еще изменится, пройдет, как гадкий сон, и тогда снова будет так хорошо, светло и радостно как прежде.

Ланде вошел тихо; голова у него через щеку и глаз была повязана толстым белым бинтом и казалась уродливо громадной, как исполинский белый одуванчик, покачивающийся на тоненьком шатком стебельке.

– Здравствуйте!.. – тихо сказал он.

Марья Николаевна растерянно встала и, не здороваясь, перебирала дрожащими пальцами по краю стола. Было в ней

что-то прекрасное, беспомощное и жалкое.

– Я пришел сказать вам... – начал Ланде, подходя и беря ее за руку. Рука задрожала, и девушка подняла на него большие влажные глаза.

– Я пришел... – повторил Ланде. – Если бы вы знали, как я люблю вас, Марья Николаевна!.. – с неожиданным напряжением вскрикнул он. – Вы мне кажетесь такой светлой, такой прекрасной, такой святой, как ангел!..

Глаза девушки трогательно просветлели, нежные выпуклые губы чуть-чуть вздрогнули в попытке несмелой улыбки. Сердце глухо и радостно стало биться в груди.

Ланде было трудно говорить, он тяжело передохнул и сжал пальцы.

– Только я не могу быть вашим мужем... – вдруг упавшим голосом закончил он.

Марья Николаевна так вздрогнула, как будто что-то тяжелое ударило ее по лицу. Нарождавшаяся радость и надежда вдруг упали в какую-то бездну, а из нее выросло с быстротой молнии сознание омерзительно грубой, смертельной обиды.

– Что это... насмешка? – звонким и в то же время зловеще тихим голосом проговорила она, вся выпрямляясь, как змея, которой наступили на хвост.

Холод и горе обняли Ланде; с печальной укоризной он посмотрел ей в глаза.

– Вы же знаете, что нет... Никогда я ни над кем не смеялся, а тем более над вами... Зачем же так говорить?.. Я ска-

зал то, что чувствую: я вас люблю, только не так... Я ведь никогда не любил женщину так... Я не знаю, может быть, я урод... Но неужели нет другой любви... и непременно надо это?... Я не могу... Поймите меня!..

Ланде путался в бессвязных нелепых словах, напрасно стараясь облечь в них горячее чувство мучительной жалости и горя, но Марья Николаевна уже не понимала его: между ним и ею как бы захлопнулась тяжелая дверь, сквозь которую слова пролетали искаженные, утратившие свой смысл и приобретающие особое, оскорбительное, злое значение. Стыд и ненависть к нему встали в ней с потрясающей силой. У нее на минуту замерло сердце и закружилась голова. Слов она не слышала, в ушах стоял какой-то гул, и белый шар на тоненьком стебельке кошмарным безобразным комком лез ей в глаза.

– Я и не прошу вас... Уйдите!.. – сквозь стиснутые от внутренней боли зубы проговорила она.

Ланде машинально держал ее за руку, и это было ей уже противно. Бессвязные слова прыгали на его дрожащих губах, и он вкладывал в них всю душу, полную страдания и любви; но девушка с неестественным выражением тупой злобы и омерзения, закусив нижнюю губу, молча вырвала руку.

– Оставьте... меня! – повторила она не своим голосом.

Ланде машинально тянул ее руку к себе и вниз, и глазами, полными муки, старался заглянуть ей в душу. Она, как глухая, не отвечала ему, не смотрела на него. То светлое чув-

ство, которое Ланде возбуждал в ней и которое пробудило требовательную жадную любовь, теперь обратилось в слепую ненависть, и чем больше старался Ланде победить ее, тем больше обострялась она. Огромное напряжение его бессильно ударялось и скользило по этой ненависти, не проникая в душу, как обнаженное кровавое сердце, брошенное с размаха на твердый холодный лед.

– Милая, поймите меня... Ведь есть же другая любовь... есть? – сжимая ей пальцы, говорил Ланде.

– Да пустите же! – с дикой тупой болью проговорила она. – Мне же больно.

Ланде опомнился и выпустил ее руку.

– Простите меня, – я не хотел... – пробормотал он упавшим голосом.

Девушка взглянула на него искоса с узким и злым презрением. С неестественным спокойствием она поправила волосы, роняя шпильки на пол, и вдруг пошла мимо него вон из комнаты, неприступно холодная и враждебная.

Вокруг Ланде стало пусто и темно, и как будто даже холодно. В окна вливались синие мертвые сумерки и наполняли комнату. В наступившей тишине, казалось, еще горели обрывки напряженного горячего шепота.

– Марья Николаевна! – тихо позвал Ланде, и одинокий голос его разбудил в темном углу что-то насмешливо гулкое.

Дверь тихо скрипнула, и вошла девчонка, держа перед собой сложенную бумажку. У нее были круглые глупые глаза,

и смотрела она на Ланде с испугом, как зверек.

Ланде машинально взял записку и прочел: «Ради Бога, оставьте меня! Может, я дурная, гадкая, но вы меня мучите. Я не могу, я вас ненавижу, вы мне противны... как гадина!» – было прописано криво и неестественно надавленным почерком.

«Надо оставить ее»... – смутно и уныло промелькнуло в голове Ланде.

– Хорошо, скажи барышне, что я больше не приду... – твердо и ласково сказал он, взял фуражку и ушел. В нем было чувство бесконечного бессилия, как у человека, ставшего перед стеной.

«Надо уйти, уехать... куда-нибудь, чтобы не доставлять ей лишних страданий», – думал Ланде.

– Было уже совсем темно, когда его окликнул Ткачев. Черный и худой, он подошел откуда-то из сумрака.

– Иван Ферапонтович, – глухо проговорил он, – Бога для... поговорить... Я вас третий день выглядываю.

Ланде с радостью остановился.

– Здравствуйте, милый! Да отчего же вы ко мне не пришли?.. Я так рад бы вам был...

Ткачев застенчиво ухмыльнулся, пожимая его руку жесткими пальцами.

– Я, может, и пришел бы... Да у вас там люди... а мне промеж себя поговорить... – пробормотал он.

– Ах, как я рад, Ткачев, что вы, наконец, пришли! – весь

волнуясь, говорил Ланде, крепко пожимая ему руки. – Может быть, пойдем ко мне? Будем пить чай. Я вам все про себя расскажу... Мне не с кем теперь поговорить... а многое надо высказать... Вот и сейчас... Пойдемте, милый!

– Что ж, пойдемте! – тихо согласился Ткачев.

Было уже недалеко, и они дошли молча. Ланде зажег лампу, принес чаю, сел против Ткачева и любовно посмотрел ему в глаза.

– Если бы вы знали, Ткачев, какую вы мне радость своим приходом доставили!.. – сказал он, ясно улыбаясь.

– Я давно хотел прийти... еще с того... как в лесу... – застенчиво и кося в сторону, ответил Ткачев.

– Да, да!.. – радостно отозвался Ланде.

– А как этот вас ударил, так у меня все и осветилось!.. Тут я и понял... что правда не на моей стороне, а на вашей. Нету, Иван Ферапонтович, другого человека, как вы! – с внезапным порывом сказал он и даже привстал.

Ланде радостно смеялся.

– Как вы это хорошо сказали, Ткачев! Ткачев напряженно вздохнул, как будто приготавливаясь поднять огромную тяжесть.

– Я так полагаю, Иван Ферапонтович, что... не могу я этого высказать...

– Говорите, Ткачев! – Вы теперь все хорошо скажете! – успокоительно погладил его по руке Ланде. – Говорите и чай пейте...

– Я скажу... я ведь затем и пришел... Вы слушайте, Иван Ферапонтович!..

– Я слушаю...

– Все, что я вам тогда в остроге наговорил, все это так, от отчаяния! Столько я страдал, столько зла и несправедливости и подлости видел, что в человеке изверился... Думал, что уж так и будет!.. Сволочь человек, и конец!.. Куда ни посмотрю, – одни звери кругом!.. Такое меня отчаяние, такая злоба взяли, что я и передать вам не могу... Да вы и не поймете, Иван Ферапонтович!.. Возненавидел я и людей, и себя, и жизнь!..

Ткачев, вытаращив глаза, с трудом передохнул. Ланде грустно смотрел ему в глаза и тихо гладил по руке.

– Да уж... А вы мне глаза открыли, Иван Ферапонтович... – задрожавшим голосом проговорил Ткачев. – Только по вас я увидел, что значит истинный человек!.. Какой может быть человек!.. Тут я и вспомнил, как Господь Содом и Гоморру за двух праведников пощадить хотел... И подумал я, что такой человек может жизнь перевернуть...

– Ткачев! – хотел перебить Ланде.

– Нет, вы постойте, – властно остановил Ткачев, – подождите... Я знаю, теперь вас не всякий и понять-то может, но оно пройдет, сквозь все пройдет!.. После вспомнят, поймут... Только бы вы... У меня, Иван Ферапонтович, вот какой план...

Ткачев привстал и наклонился к Ланде близко-близко,

так, что его горячее дыхание жгло Ланде лицо, а темные мрачные глаза проникали точно в самый мозг.

– Надо слух о новой вере пустить! – подавленно прошептал он, восторженно грозя вспыхнувшими глазами.

– Что такое? – удивленно и испуганно вскрикнул Ланде.

Новую веру!.. Вот... Народ вот как ждет! Потому... горе кругом! кругом!.. К вам со всех концов пойдут, со всей России пойдут!.. Только слух пустить... Вы над всеми станете, всех поведете... Иван Ферапонтович!

Ткачев весь дрожал и горел.

– Какая вера, о чем вы говорите, Ткачев! – строго возразил Ланде. – Что я могу им дать?

– Вы? Вы все можете, Иван Ферапонтович!.. А вера это только так, для начала... Чтобы только колыхнуть!

Ланде, бледный и строгий, встал.

– Это не то, Ткачев! – сказал он. – Неужели вы не понимаете, чего вы хотите, какое это ужасное зло, обман и преступление было бы! Правды не будет из обмана и я не могу этого... оставьте это!

Лицо Ткачева потемнело бесконечным страданием.

– Иван Ферапонтович!.. Вы один... другого такого нет!.. Неужто так и погибать всем!

– Никто не погибает, Ткачев! – также строго и торжественно возразил Ланде. Что вы говорите?.. Гибель в том, что вы затеваете... И это вам не удастся, потому что этого не надо!.. Не надо насиловать, обманывать... Борьба будет потому, что

она нужна, как горнило... Но каждый шаг в этой борьбе должен быть прямым... Это прежде всего, и именно эта непоколебимая правда приведет к победе. Неужели вы этого не понимаете, Ткачев? Ложь зло... Надо стараться не делать зла!..

– Только? – переспросил Ткачев.

– Да, только! – твердо ответил Ланде. – Это гордость в нас говорит, Ткачев!.. Кто дал нам с вами власть переделывать людей по-своему силой и обманом? Может быть, именно мы с вами самые дурные, погибшие люди?.. Как знать, зачем и для чего все кругом!.. Идите своей дорогой, кто пойдет за вами пусть идет. Идите впереди, а не толкайте сзади! Если ваша жизнь будет права, след ее не пропадет, а пройдет через все века!..

Ткачев, понутив голову, молчал. Замолчал и Ланде и с любовью и состраданием смотрел в его опущенное лицо.

– Значит... нет?.. – с трудом, совсем глухо, проговорил Ткачев. – Значит, ошибся...

И в его глухом упавшем голосе слышалось великое страдание раз и навсегда разрушившейся грандиозной мечты, смутной, но глубочайшей надежды.

– Полно, Ткачев! – любовно сказал Ланде.

Была уже ночь, когда Ткачев шел по улице, без цели и смысла шагая в холодной, ветреной тишине.

– О, черт бы меня побрал! – с бесконечным отчаянием громко крикнул он и, судорожно схватившись за волосы, замер, прислонившись головой к твердому холодному забо-

ру. – Ведь мог бы... Юродивый, несчастный! – с лютой злобой прошептал он.

Сторож строго постучал колотушкой где-то во тьме.

XX

Слабый и совсем больной от бессонной ночи встал Ланде на другой день. Всю ночь он думал о Ткачеве и Марье Николаевне, и душа его была полна светлой печалью.

«Какие они оба могучие, какая у них огромная жажда жизни!.. Бедный, милый Ткачев! Какое это счастье так любить жизнь и так стремиться к ней... Они теперь несчастны, но это пройдет, а живая сила останется, – они будут счастливы в счастье ли или в страдании».

Утром он решил пойти к Молочаеву.

Художник был дома и угрюмо сидел на окне, куря одну папиросу за другой. Увидев Ланде, он быстро встал и весь вспыхнул. Что-то непонятное и громадное прошло у него в мозгу.

Ланде прямо прошел через комнату и молча, улыбаясь, протянул ему руку. Лицо у него было светлое и спокойное.

Одну секунду теплое чувство внезапно овладело Молочаевым и ему неудержимо захотелось просто, искренно и сильно пожать протянутую руку; но уже в следующее мгновение все опять спуталось в его душе. Ему почудилось что-то обидное в этом поступке Ланде, и Молочаев весь съежился, его красивое лицо неестественно искривилось в оскорбительно вежливую улыбку.

– Очень приятно... – жестко усмехаясь, сказал он в нос и,

кривляясь, с преувеличенным уважением пожал руку Ланде.
– Садитесь, пожалуйста! Как ваше здоровье? – спросил он, нарочно скользнув взглядом по белому пузырю вместо головы.

Ланде тронул повязку рукой и просто сказал:

– Не очень хорошо. Вы меня страшно больно ударили.

Вдруг Молочаев потерялся. Густая краска выступила на его лице. Он старался овладеть собой и тем же оскорбительно вежливым тоном возразил.

– Мне, право, очень жаль...

Ланде посмотрел ему в глаза ясным и спокойным взглядом.

– Нет, зачем так? – тихо возразил он. – Вам не жаль, – ведь вы и хотели меня ударить больно...

Тяжелое, смутное чувство овладело Молочаевым. Как будто что-то придавило его и смутное сознание, что Ланде не смешон, а смешон он сам, смешон и ничтожен, – больно прилило холодом к груди.

– Я пришел собственно сказать вам, – кротко и ровно говорил Ланде, – что мне очень жаль, что я довел вас до этого. Я знаю, что вы меня ревновали к Марье Николаевне... А я вовсе не хотел вам мешать. Я, правда, люблю эту девушку за огромную живую жизнь, которая в ней есть; но только я любил ее всегда совсем не так... Теперь она возненавидела меня за все это, за то, что ошиблась. Вы идите к ней, – она полюбит вас, я думаю... А меня вы простите и не чувствуйте

ко мне дурного. Я вас люблю, – вы такой сильный и красивый человек... Теперь я пойду, – я знаю, что вам еще не может быть приятно со мной говорить. Прощайте!

Ланде встал и протянул руку. Молочаев, закусив губу, тем же движением, как это вышло у Марьи Николаевны, протянул свою. Ланде ушел. И когда он ушел, дурное, злое, обиженное и завистливое чувство вновь овладело Молочаевым. Он заметался по комнате, нарочно стараясь преувеличить и раздуть свое чувство. Как будто это удавалось ему и он засмеялся над Ланде; но в то же время ему стало скучно и как будто жаль чего-то. Он не мог понять, чего именно; но чувство было глубоко и мучительно и ему стало казаться, что оно останется в нем навсегда и на всю жизнь будет так гадко, потерянно и тоскливо.

XXI

Жизнь Ланде становилась все более одинокой, и в этом чудилось что-то неизбежное. Горящая и мятущаяся любовью душа его была все чаще унылой и печальной, как живая зеленая ветка, обмерзающая непроницаемо прозрачной, холодной корой льда. В последние дни он постоянно был один. Только Соня ходила за ним неотступно, но именно ее, одной в целом мире, Ланде стал почему-то бояться: ему все казалось, что она, как помешанная, больная, видит не его, а кого-то другого и что вот-вот она откроет свою ошибку и тогда возненавидит его всею своею душою и не будет ни границ, ни предела ее ненависти.

В одну одинокую грустную ночь Ланде написал Семенову длинное и горячее письмо, в котором задавал много мучительных вопросов о правде, о людях, о счастье. На это письмо больной студент ответил так:

«Оставь меня, пожалуйста, в покое! Я умираю, и мне не до тебя! Передо мною теперь самый важный, последний и единственный вопрос человеческой жизни, как умирать?.. Можно ли толковать о людях, о любви, об одиночестве, когда человек всегда и при всяких отношениях к людям умирает один! Ты, конечно, не можешь понять этого слова во всем его настоящем смысле: смысл этот ужас. Этот ужас я должен перенести один, никто не может, – понимаешь? – не может

сопровождать меня, даже если бы захотел этого больше всего на свете. Теперь все для меня разделилось на две половины, не имеющие никакой связи: одна, ничтожная – вся мировая жизнь, другая, неизмеримо громадная – моя смерть! Теперь, когда я отошел от всего и стою один в пустоте, я вижу, что на самом деле так было и всегда, а мне только казалось, что я живу не один. Всю жизнь с усердием, достойным лучшей участи, я старательно лепил вокруг себя какой-то цемент из веры, идей, любви и жалости и думал, что это прочно, незыблемо; но как только повис над пустотой смерти всей тяжестью своего Я, – все сразу распалось, как сухая глина, и я полетел один, как камень. Не сегодня-завтра мне умирать, а люди остаются жить, как ни в чем не бывало. Так о чем же ты городишь? Ты почувствовал себя одиноким и несчастным оттого, что люди не разделили твоих пылких чувств и не бросились в твои братские объятия?.. Удивительно! Да неужели ты не знал, что все равно, когда ты будешь умирать, люди не будут даже в состоянии понять твое чувство и будут принуждены выпустить тебя из самых крепких объятий... Ты, впрочем, человек верующий, – я было позабыл об этом; но пойми же ты хоть раз в жизни, что если мы все и встретимся в той, иной жизни, о которой мы ровно ничего не знаем и знать не можем, то там мы и поговорим в подходящем случае духе, опираясь на то, что нам тогда будет известно!.. Знаю я, что теплее жить, если люди тебя греют, – но, конечно, что и говорить!.. Ну, что же, беги по улицам и кричи: „О,

люди, люди, люди!“ И побегут за тобой и будут кричать: „О, Ланде, Ланде!..“ Только и всего! А страдать ты всегда все-таки будешь один, ибо если у тебя заболит живот, то у самого лучшего друга, у брата, у жены не сделается от сочувствия ответное расстройство желудка.

Еще раз прошу тебя: оставь меня в покое! Когда-нибудь ты сам поймешь, как это все глупо, и так же возненавидишь людей за ту глупую роль, которую старался сыграть, как я теперь возненавидел. Если бы ты знал, какую ужасную, душашую ненависть возбуждают во мне все... Будьте вы все прокляты! Если бы я мог, я бы задавил всю землю. Зачем я жил, Ланде? Господи, как страшно, пусто, холодно! Ради Бога, не трогай меня больше!»

Холодный ужас повеял в лицо Ланде от этого письма. Образ умирающего в одиночестве Семенова встал перед ним, как сплошное, кровоточащее страдание.

«Бедный Вася, что с ним, откуда такой ужас, такая злоба? Ведь это ужас, которому имени нет, – такая смерть!.. Не может быть, чтобы это было так, само по себе! Это оттого, что он один, от страха, от боли. Надо ехать к нему».

И все чувства и мысли Ланде вылились в одно: надо к нему. Он не знал, что скажет, чем подымет упавшую душу; но в нем жила светлая и торжественная вера, что любовь делает все: любовь пробьется сквозь страдание, согреет и оживит душу, и она раскроется, как цветок на заре, осветится и воспримет любовную торжественную веру.

Вся кровь прилила к лицу и сердцу Ланде, так что в глазах у него помутилось. Страстное чувство томило и тянуло его до боли, до лихорадочного состояния. Он машинально вышел на крыльцо и долго стоял без шапки, глядя в далекое небо, с которого моросил невидимый мелкий дождь. Холодный упругий ветер рванул его широкой волной, зашевелил волосами, буйно и холодно ударил в лицо и перехватил дыхание.

«Надо достать денег! – мелькнуло, в голове Ланде. – Негде! – сейчас же подумал он. – Маму нельзя просить, – она не даст. Все, что я хочу, теперь вызывает в ней только злобу и желание сделать не так. А больше не у кого. У Шишмарева нет, наверное»...

Ланде растерянно, блуждая глазами, вернулся в комнату. Тут, глядя в упор на лампу, он подумал:

«Пойду к отцу Павлу».

Почему у него явилось такое решение, Ланде не мог бы объяснить. В его памяти просто выяснилась фигура старого заштатного священника, с его розовой лысиной, добродушным старческим лицом, белой ряской и тем, как будто ласковым и сочувственным взглядом маленьких глаз, которым он провожал его при встрече.

И на другой же день, все еще с обвязанным лицом и закрытым глазом, похожий на вставшего от тяжелой болезни, Ланде перешел большую, заросшую пыльной травой площадь, отворил калитку и пошел в маленький, уютный и как

будто теплый дворик. День был серый, сухой и неподвижный; но большие, осыпанные золотом деревья казались освещенными ярким солнцем, и во дворике было светло, тихо и радостно. Неподвижно стояли перед окнами в крошечном палисаднике милые, наивно пестрые цветы. Пахло яблоками, осенними листьями, ладаном и каким-то особенным запахом тишины и покоя.

Старый попик сидел на чисто оструганном крыльце в чистой белой рубашке, весь розовый и белый.

Ланде торопливо подошел с озабоченным лицом.

– Здравствуйте, отец Павел! – заговорил он. Старый попик посмотрел на него, точно нисколько не удивившись его приходу.

– Здравствуйте! – приветливо ответил он. – Садитесь! Чем могу служить?

Ланде так же торопливо сел на другом крыле крылечка.

– Я к вам с просьбой... – наскоро заговорил он, ибо ему казалось, что то огромное, что наполняет его душу, всякому человеку понятно с одного слова и надо поменьше слов. – У меня есть один товарищ... вы, вероятно, его знаете – Семенов.

Старый попик помолчал.

– Слыхал... – неопределенно ответил он и провел маленькой сморщенной ручкой по серебристым сухим волосам.

– Так вот... Этот Семенов теперь в чахотке... умирает... – торопился Ланде.

– Воля Божья! – торжественно и просто сказал старый попик.

Он вздохнул и перекрестился.

– Я от него письмо получил, – говорил Ланде, доверчиво придвигая голову к попику, – ужасное письмо!.. Видно, что он впал в последнее отчаяние, когда в душе только ненависть и злоба... Я вам покажу это письмо!..

Ланде торопливо вытащил из кармана тужурки письмо.

Старый попик посмотрел на письмо и ничего не сказал.

– Сколько в нем страдания, одиночества, горя!.. – со скорбным напряжением говорил Ланде. – Сколько отчаяния и неверия!.. Страшно становится, когда читаешь это письмо... Страшно и жалко до слез! Вы понимаете, сколько страдания должен испытать человек, умирая в полном неверии! Нет названия этой муке!.. Вот, вы прочтите письмо!

Попик опять посмотрел на письмо, но руки не протянул.

– Я чувствую, верю, – продолжал Ланде, держа письмо в протянутой руке и не замечая этого, – что если бы я мог поехать к нему, я много облегчил бы ему. Я чувствую, что смогу, потому что верю в это. Он почувствует, что не один, и этого уже достаточно... Только у меня денег нет на дорогу, – по-детски улыбаясь, вдруг прибавил Ланде.

Он взглянул в лицо попику, и вдруг ему показалось, что добродушные глазки его – не глазки, а только глубокие дырочки, добродушные только от морщинок розовых и лучистых, а в глубине этих дырочек сидит кто-то маленький, злой

и острый. Он с инстинктивным испугом замолчал и растерянно смотрел на попика.

Попик тоже молчал и смотрел на него. Было тихо, и за спиной попика беззвучно кружился золотой лист, опускаясь на землю.

– Да вот, вы прочтите письмо! – торопливо пробормотал Ланде и протянул к самым коленям попика сложенную бумагу.

Старый попик вздохнул, погладил волосы и бородку и взял письмо.

Читал он его долго, спокойно, как будто читал мирное и сладкое житие преподобного. Потом опять вздохнул, сложил письмо и отдал Ланде.

– Вот видите! – оживленно показывая рукой, сказал Ланде, взял письмо и положил на крыльцо.

– Вы письмецо уберите, – тут у меня этой погани не годится! – тихо, но властно сказал попик.

Ланде не понял его слов, но письмо взял и положил в карман.

– Вот я и хотел денег попросить у вас... Вы видите, необходимо ехать кому-нибудь, – серьезно и просто сказал он.

Старый попик вздохнул.

– Да-с, очень может быть. Только денег я не дам, – уж вы простите... И есть, послушайте серьезно, да не дам.

Точно холодная тяжесть ударила Ланде по голове. Он вскочил в отчаянии.

– Почему? Вы же читали сами!

Старый попик тоже встал.

– А потому, послушайте серьезно, – ответил он, – что Семенова этого я давно и хорошо знаю. Безбожный и зловерный человек, послушайте серьезно, неверующий, отступник. И послушайте серьезно, и вам не советую.

Ланде широко раскрыл глаза.

– Значит, отступить от него? Оставить его умирать в отчаянии?..

– По деяниям достойная смерть! – сказал старый попик, заложив руки за спину, и опять из-за розовой маски выглянуло что-то жесткое и злое.

– Побойтесь Бога! – вскрикнул Ланде. – Что вы говорите, батюшка!

– Не вам меня учить, послушайте серьезно! – возразил попик.

– Да ведь вы служитель Церкви... Христовой Церкви!

– Господин Семенов сам давно отступился от Церкви, и не Церкви за ним бегать, послушайте серьезно! – сказал старый попик.

Ланде с молчаливым отчаянием смотрел на него. Старый попик стоял, спокойно заложив руки за спину. В его маленьких глазах что-то играло и как будто веселилось.

– Так, ведь... не могу же я ехать без денег... – машинально пробормотал Ланде.

– А вы зайчиком... – вдруг сказал старый попик. – А то

и пешечком пойдите!

Ланде с удивлением посмотрел на него, но лицо попики было как будто серьезно.

– Да ведь это очень далеко! – проговорил он.

Старый попик вздохнул.

– Далеко. Что ж, послушайте серьезно, по вашему понятию дело это великое... Вот вы и потрудитесь...

И стало вдруг Ланде холодно возле этого розового, седенького, беленького старика-попики. Он машинально повернулся и пошел к калитке.

– Но тут надо скорее... Он может умереть, пока я дойду... – остановился он.

Старый попик ответил ехидно, с нескрываемой уже насмешкой:

– Если Господу будет угодно, то застанете вы его в живых...

Ланде помолчал. Как белое облако в золотом фоне стоял попик посреди чистою мирного дворика.

– Ну, что ж, – сказал Ланде, – придется идти. Я пойду, если не достану денег, – не в том дело... Как вам будет стыдно потом! – скорбно и торжественно прибавил он.

И поднял попик сухенькую ручку.

– Идите, послушайте серьезно, идите отсюда!

– Батюшка, я не хотел вас обидеть! – вскрикнул Ланде.

– Идите, идите!

И было что-то такое холодное и непреклонное в его тихом

ясном голосе, что Ланде ничего больше не сказал, опустил голову и вышел.

Слышно было, как старый попик подошел к калитке и наложил крюк.

XXII

Вечером Ланде сказал об этом матери. Она посмотрела на него с ненавистью дикой на старом добром лице и шипящим голосом сказала:

– Опять фокусы!.. Господи, да когда же это кончится, наконец!

Она встала и ушла от него с холодной и тупой злобой в душе, хлопнув дверью.

Ланде печально посмотрел ей вслед, взял фуражку и пошел к Шишмареву.

Маленький студент сидел один в маленькой комнате и пил чай за маленьким самоваром. Большая раскрытая книга лежала перед ним.

Увидев Ланде, он как-то нескладно встал и протянул руку.

– А, это ты... Здравствуй! Садись! Хочешь чаю? – резко, как будто не проговорил, а прокричал он.

– Нет, – сказал Ланде, – я пил чай... Получил письмо от Семенова.

– А!.. Что же он пишет?

– Ты сам прочти, – я этого не могу пересказать... – ответил Ланде.

Маленький студент долго и внимательно читал письмо.

– Да, бедняга! – вздохнул он, кончив, и, заложив обе руки в коротких рукавах тужурки между колен, потер их, точно

ему стало холодно.

– Я хочу ехать к нему! – сказал Ланде.

– Зачем? – серьезно и внимательно спросил Шишмарев.

Его резкий голос произвел почему-то на Ланде такое впечатление, как будто он запустил ему куда-то в душу тонкий и твердый ножик.

– Что ж ты там можешь сделать? – повторил вопрос Шишмарев, пока Ланде собрался отвечать.

– Я не знаю, что я могу сделать... – ответил Ланде. – Я только чувствую, что надо ехать.

Шишмарев уже давно стал чуждаться Ланде: кротость его казалась маленькому студенту бессилием, неспособностью к борьбе. Иногда он чувствовал за этой кротостью что-то, что смутно его поражало: но он сторонился от этого и смотрел намеренно равнодушными глазами, как смотрел маленький студент на все, чего не понимал просто и ясно его резкий и жесткий ум.

Серьезным взглядом он посмотрел в лицо Ланде, еще глубже засунул между коленями широкие кисти рук и возвратил.

– Не знаю... Ты так подчеркиваешь это «чувствую», точно здесь что-то мистическое... Что касается меня, то мне кажется, что своим приездом ты ровно ничему не сможешь. И сам измучишься, и его измучишь... Оставь лучше... зачем?

– Вот ты говоришь – зачем?.. – задумчиво ответил Ланде. – В этом вопросе уже заложена мысль, которая губит че-

ловека... Не надо спрашивать. Надо делать то, что чувствуешь. Это выше нас; прикладывая свою мерку, мы только убиваем душу...

Шишмарев резко пожал плечами, не вынимая рук.

– Какую там душу?.. – досадливо возразил он. – Оставь, пожалуйста... Должен же быть какой-нибудь критерий поступков... Раз ты хочешь ехать, то должен же ты себе уяснить, какая польза будет от этого.

Ланде печально вздохнул.

– Я не знаю... может, и никакой пользы не будет... – грустно проговорил он.

Шишмарев удивленно поднял брови.

– Так для чего же?

От его резкого голоса лампа как будто вздрагивала.

– Для чего? Для той правды, которую я чувствую и которая зовет меня! – глубоким грудным звуком сказал Ланде.

– Опять эта правда!.. Может, скажешь, высшая правда! – с иронией спросил Шишмарев.

– Конечно, высшая, потому что выше уж ничего нет! – серьезно ответил Ланде.

Шишмарев не пожал, а рванул плечами.

– Высшая правда – одна, та, которую дает разум, мысль! – крикнул он. – У нас нет ничего, кроме добытого мыслью понимания!

Ланде всплеснул руками.

– Что ты говоришь! Какое убожество, какая бедность жиз-

ни была бы, если это так!

Шишмарев вскочил и размахнул руками, отчего чуть не до ушей поднялись его узкие плечи.

– Как, убожество? По-моему, убожество это тешить себя сказками, заранее ставить пределы своей мысли!

– Она сама знает свои пределы... тихо возразил Ланде.

– Никаких пределов она не знает! – резко кричал Шишмарев. – Горизонты мысли беспредельны! Из того, что сейчас мы не знаем всего, вовсе не значит, что мы так никогда и не узнаем. Мысль так же беспредельна, как весь мир! как возможность!.. Как расширяется теория возможности, так расширяется и мысль... бесконечно!

– В пустоту? – мучительно спросил Ланде, широко открыв глаза.

– Да, в пустоту! – горячо и резко, еще резче, чем прежде, ответил Шишмарев.

– Но ведь это ужас!

– Ну и пусть ужас... Я сам знаю, что куда легче убаюкивать себя золотой мечтой о единой всеобъединяющей душе мира и тому подобное! Но, что касается меня, я предпочту пустоту той правде, которая только потому и правда, что с ней легко и приятно жить. Ххм!.. – Он замолчал и весь дергался от возбуждения, глубоко засунув красные кисти рук в карманы тужурки и перебирая там пальцами быстро и беспокойно.

– Я не стану с тобой спорить, – просто сказал Ланде, – и потому, что ты умнее меня, и потому, что об этом не надо

спорить; но только именно потому, что я чувствую всю бесконечную громадность внутренней силы человеческой, человеческой мысли, я не могу поверить, чтобы она исходила из абсолютной пустоты и уходила в нее же, как бессмысленный болотный огонь, возникший из грязи!.. Слишком светло она горит, слишком сильно разгорается, охватывает весь мир, освещает, согревает!.. Нет, я чувствую правду... Я все-таки поеду к Семенову, Леня!

– Это дело другое... – сдержанно ответил Шишмарев. – Если хочешь, если тебе жаль его, так поезжай... Дело твое!

Он сел за стол и стал помешивать ложечкой, тихо звеня в полупустом стакане. Плечи его все еще вздрагивали от возбуждения.

– Я поеду, только денег у меня нет.

– Ну, и у меня, брат, нет! – извиняющимся тоном ответил Шишмарев, виновато разводя руками.

Ланде хрустнул пальцами.

– Ах, Господи... что же мне делать?

Шишмарев опять развел руками.

– Подожди! Может, как-нибудь устроится...

– Нет, – махнул рукой Ланде, – здесь не время ждать...

Пойду...

Шишмарев быстро поднял голову, смешливое удивление расширило его рот.

– Пойдешь? То есть как пойдешь? пешком?

– Пешком, конечно... Где-нибудь подвезут... – просто от-

ветил Ланде.

Шишмарев пристально, расширив рот, смотрел на него, потом вдруг сделался серьезен.

– Слушай, Ланде... есть же границы всяким чудачествам! – пожав плечами, вразумительно сказал он.

– Это не чудачество. Мне не на что ехать, я и пойду. Ходят же богомолки за тысячи верст...

– Богомолки... – спутался на мгновение Шишмарев. – Так то, во-первых, богомолки, а во-вторых, не осенью... Ты не дойдешь просто!

– Может быть, и дойду.

Раздражение опять начало овладевать Шишмаревым.

– Богомолки ходят ради веры... которая у них одна в...

– И я иду ради своей веры, – улыбнулся Ланде.

– Да... Ну... Но ведь должен же ты сообразоваться хоть с обстоятельствами!

– Это так легко определять жизнь свою по обстоятельствам! – с нежной укоризной сказал Ланде, улыбаясь светлыми глазами. – Так можно совсем перестать верить себе и начать во всем уже верить обстоятельствам... Нет, пусть уж так: чувствую я, что надо идти, ну, и пойду... Как-нибудь...

– Да пойми ты, наконец, что прежде всего ты этим фактически ничего не изменишь!

– Мы этого не знаем! – строго ответил Ланде. – Это только кажется так...

Шишмарев бессильно помолчал.

– Это глупо, – ты не дойдешь, ничего не поправишь!.. Это глупо и невозможно.

– Нет уж, – вздохнул Ланде, задумчиво глядя на него, – я знаю, что тебе кажется это глупым, невозможным, нелепым, но... только я все-таки пойду... Не удерживай меня, голубчик, не надо этого!

Шишмарев со странным чувством пожал плечами.

– Черт знает, что такое! – пробормотал он и наклонился к стакану. Они молчали.

– Ну, я ухожу, – прощай пока! – сказал Ланде, вставая.

– Посиди!

– Нет, голубчик... приготовить кое-что надо...

Он тепло пожал руку Шишмареву. И вдруг маленький студент почувствовал смутную грусть.

– Так и пойдешь? – усиливаясь смеяться, но дрогнувшим голосом спросил он.

Ланде был выше его на голову и любовно смотрел на него сверху.

– Пойду! – кивнул он головой.

Шишмарев хотел что-то сказать, но странное чувство сдавило ему горло и он только слабо пожал плечами.

Они стояли уже в темной передней, в которую падал только узкий свет из двери, когда Ланде вспомнил о Ткачеве.

– Помнишь ты того человека, из-за которого меня Молочаев побил? – спросил он. – Как-то он приходил ко мне...

Ланде рассказал о своем разговоре с Ткачевым. Рассказа-

зал он просто и коротко, но что-то громадное, подавляющее стало медленно вставать в мозгу Шишмарева. Грандиозная фантазия властно захватила его и, странным образом воплощаясь в темной фигуре Ланде, стоявшего перед ним, очаровала маленького студента новым захватывающим чувством. Он порывисто схватил Ланде за рукав и резко крикнул:

– А ведь это громадно! Что ж ты?

– Да, – сказал Ланде, – мне было ужасно больно разрушать его мечту... Несчастный он... С такой бурей в душе никогда нельзя успокоиться...

– Значит, ты отказал? – с каким-то испугом спросил Шишмарев.

Ланде улыбнулся.

– Разве я мог согласиться быть пророком, не будучи им?..

Шишмарев вдруг опомнился, потер руки и смутно проговорил:

– Ну да...

Он проводил Ланде на крыльцо.

Было темно и уныло.

– Прощай! – сказал Ланде, удаляясь в темноту.

– Прощай! – сказал Шишмарев.

Он долго стоял на крыльце, потом вернулся в комнату и сел за стол. Лампа горела ярко, но ее узкий свет тупо и вяло ложился вокруг. Углы комнаты были уже в сумраке. Шишмарев подвинул к себе книгу, но буквы резали глаза, не врезываясь в мозг. Странное волнение овладело им. Он то вста-

вал, то садился, точно что-то громадное вошло в него и томило его. Все мысли и чувства его были полны Ланде. Было трудно думать о нем, мысли прыгали и путались, сменяя одна другую. Голос Ланде, слабый и мягкий, стоял в ушах, и неясный образ как будто стоял возле и в нем, туманный и огромный.

Шишмарев вдруг пожал плечами и неестественно резко засмеялся, хотя никогда прежде не смеялся один. Смех остро зазвенел у него самого в ушах.

– Черт знает, что такое! – хрипло проговорил он.

Было такое чувство, точно по душе его, жестко упорной, прошла вдруг какая-то глубокая огненная борозда, конец которой терялся впереди, в бесконечной дали будущей жизни.

XXIII

Ночью, в начале осени, когда воздух был уже редок и холоден, Ланде тихо вышел из дома, одетый в черный старый, купленный у монаха подрясник и с мешком за спиной.

«Так легче и проще будет идти»... думал он.

Тихо и пусто было во всем городе. На небе была непроглядная пелена бледных туч. Не было луны, не было звезд. Медленно уходили назад темные дома с запертыми слепыми окнами и холодные деревья, облепленные черной тьмой. Скоро Ланде вышел в поле. Ветер рванул полы его подрясника и зашумел в ушах протяжно и уныло. Пусто, широко и холодно раскинулось вокруг бесконечное поле. Тучи шли, казалось, еще дальше, еще выше. На темных буграх уныло качалась сухая трава. В душу Ланде вошло необъятное чувство простора и вместе с ним вошло и отчетливое сознание, что ему не дойти. Но вошло оно без сомнения, без тоски и отчаяния, напротив, ему стало легко и свободно, как будто именно этим он стал на прямой путь, наконец, уже прямо ведущий к цели, и сердце его сладко сжалось, точно в предчувствии светлой радости.

Но это было только сознание, а не мысль. В мысли его стоял только образ больного, страдающего человека, к которому он шел, и он не думал, что с ним самим будет впереди, как не чувствовал жалости и печали о том, что оставлял. В

сердце его было светло, и оттого везде было светло. Легкими, быстрыми шагами, точно упругая земля сама отталкивала его ноги, шел он вперед по широкой мягкой дороге, радостно и удивленно оглядываясь кругом и радостно прислушиваясь ко всякому звуку степи, приносимому уныло шумящим вдоль дороги одиноким ветром.

Настало утро, потом день, опять ночь и опять утро. Пять дней он шел деревнями и ночевал у мужиков, смотревших на него недоверчиво и угрюмо и неохотно пускавших его к себе. С ним мало кто говорил, потому что мало кто его понимал, хотя он просто и легко заговаривал со всеми. Старухи, подперев высохшие щеки рукою, спрашивали, откуда он идет и не от Серафима ли; а мужики только косились и отмалчивались. На пятый день огромный черный мужик, с черной, точно вырубленной топором бородой и злыми глазами, сказал ему угрюмо:

– Проходи, проходи, а то и к уряднику недолго... Много вас тут шляется!

И было в этом что-то такое недружелюбное, непонимающее, чужое, что Ланде стало страшно и жалко. Широко раскрытыми глазами он всматривался в деревню, и она проходила мимо, такая же обособленная, непонятная и убогая и богатая жизнью, как те огромные, пестрые стада, которые медленно поворачивали к нему рогатые могучие головы и провожали его таинственными большими глазами, когда он проходил мимо. С любовью и умилением смотрел Ланде на

этих людей, похожих на волов, и на этих волов, похожих на каких-то странных людей, и чувствовал себя еще далеким, еще ненужным и непонятным им. Было грустно и мечтательно хотелось заглянуть куда-то вдаль. Но взор был туп и бессилен, и было тяжело. Только когда в поле было совсем пусто и солнце на всем необъятном просторе светило, казалось, для него одного, Ланде было совсем весело, хорошо и легко. Но это было редко, потому что по всем направлениям в бесчисленном количестве, как муравьи, копошились люди.

И когда ему указали ближайшую дорогу через лес, и лес выступил перед Ланде зубчатой стеной, и он вошел в его торжественную и тихую зелень, – ему стало радостно, и в первый раз в жизни он почувствовал облегчение, оттого что не было здесь нигде озабоченного, затаенного, непонятного человеческого лица.

Целый день он шел по чуть намеченным, заросшим лесным колеям, и целый день вокруг него стояли только высокие, задумчивые деревья и во все стороны углублялась их прозрачная зеленая глубина. Беззвучные птицы неслышно перепархивали вокруг него, как будто притворяясь, что не замечают человека. Где-то трещали ветки, точно по лесу шел кто-то – не человек.

Потом лес стал редеть, потянуло сыростью и еще непонятной, но ясно ощутимой силой, что-то заблестело между деревьями. Это была большая, глубокая, многоводная река. Только у самых берегов росла зеленая осока, таинственно

раскачивающаяся над глубиной узкими, как зеленые острые сабли, листьями; а огромная масса воды, полной и свободной, медленно и гладко текла, чистая и широкая. На той стороне стоял сплошной стеной такой же темно-зеленый лес и сзади надвигались молчаливые деревья, вытягивая к реке узловатые ветви, точно колдуя над темной глубиной.

Было пусто, и долго было пусто, и Ланде задумчиво сидел на берегу. Потом вдоль берега неслышно заскользил челнок, такой же зеленоватый, сырой и дикий, как стволы деревьев, а в нем стоял на коленях мокрый и тоже зеленый корявый мужик. Он не нарушал покоя реки и леса, а сливался с ним, так что глаз, не останавливаясь, скользил по нем, как и по осоке, и по воде, и по небу.

– Дедушка! – крикнул Ланде, вставая на берегу. На той стороне, в лесу, кто-то прокричал тоненьким, странным, гулким голоском:

– У... а-а! – и смолк где-то страшно далеко, точно подхватил резкие звуки и быстро унес их в глубину леса.

Мужик положил весло на колени поперек челнока, и челнок долго скользил сам, оставляя за собой узкую серебристую ниточку, звеневшую, как стеклянная.

– Ась! – отозвался мужик.

– А-а!.. – акнул в лесу подкравшийся и опять торопливо убежал в чащу...

Потом мужик долго греб через реку, а Ланде сидел на носу челнока, длинной черной полоской отражаясь в воде.

– Далече ли идешь? – спрашивал мужик глуховатым лесным голосом.

– Далеко, – охотно ответил Ланде. Мужик посмотрел на него маленькими быстрыми лесными глазками.

– Так... – сказал он, перестал грести и смотрел в воду.

– Сказывают, в Сибири много вольготнее... – заговорил он неожиданно, как будто то, что сказал Ланде, было в связи с его долгой, упорной думой. – Так-то вот, ходит народ искать, где лучше... Оно точно, податься некуда, а только ни к чему это... Правды искать идут, а правды-то нигде нет... Все одно, здесь ли, там ли, а только ты себе живешь, вот как я, к примеру, в лесу... думаешь, окромя Бога над тобой никого нет... Все от Бога, и ты сам к Богу, помощи больше никто не подаст; ан нет, придет незнамо кто, незнамом зачем и берет... Народ темный, не зна, может, и надо так, кто его знает!.. Думка-то есть да кто ее скажет!.. Так-то вот, век спину гнешь, напирал, глядишь, только-только вздохнул, Бога вспомнил, раз! – и нет ничего!.. А опосля того в кабак, потому невозможно... Правды нет, милый человек, нет... А тут, там ли, все едино, земля везде одна!.. – говорил мужик убитым, монотонным голосом с той скрытой страстью, которая без крика кричит об исстрадавшейся вконец душе.

– Правда в самом человеке, – скорбно сказал Ланде, – а не в земле. Надо любить и жалеть прежде всего друг друга, а остальное потом все будет!

Мужик мрачно усмехнулся.

– Знаем мы, милый человек, что будет! – как будто не придавая этому значения, как неизбежному, как тому, что завтра непременно будет день, сказал он. – А теперь как жить, вот ты что скажи!.. Любить, говоришь... Где уж тут любить, когда иной раз за корку хлеба, скажем, глотку бы перервал!.. Вот.

Мужик помолчал и с затаенной ненавистью прибавил:

– Господам-то оно хорошо говорить... Господам да попам!.. Нет, ты вот тут правду-то поищи! – злобно проговорил он и вместе с веслом ткнул к Ланде свою корявую, мозолистую, сплошь изъеденную рыбьей солью руку.

– Так-то... другим голосом, тихим и печальным, помолчав, заговорил он. – Богу-то видней, куда дело идет!.. Тем и живем, а то б... Нету на свете правды, а может, в том-то и дело все: Богу-то правда нужней сытости; затем люди и муку принимают, что через нее правда на земле идет!.. Так ли, милый человек?

– Так, так!.. – радостно ответил Ланде, кивая головой. – Все, что на свете есть, и науки все, и дела все, и мысли все, – все движется страданием... Не будь муки, остановилось бы все и душа бы умерла!

Челнок ткнулся о берег. Ланде медленно и нерешительно вылез наверх. Мужик остался внизу. С минуту они молча смотрели друг на друга. Что-то крепкое и сильное протянулось между ними, и были в эту минуту они и близки, и далеки друг другу, как два конца туго натянутого каната; чув-

ствовало жгучее и властное желание что-то сказать, что-то важное, соединяющее; но ничего нельзя было выразить, потому что не было слов, одинаково сильных и одинаково понятных для обоих, мужика и Ланде.

– Прощай, дед! – грустно сказал Ланде.

Мужик угрюмо пробормотал что-то непонятное, оттолкнулся от берега и опять заскользил по реке, корявый, зеленый и мокрый, как водяной корень. Ланде долго смотрел ему вслед, пока он беззвучно не уплыл за поворот и пока не сгладилась на широком водном зеркале длинная серебристая полоска. Опять стало Ланде тяжело, грустно и опять захотелось уйти в зеленую чащу.

К вечеру он сбился с дороги, набрел на старый брошенный шалаш и остался в нем ночевать.

Ночь была холодная, колющая, и Ланде плохо спал от холода и усталости.

Туман, который всю ночь густой белой пеленой стоял между неподвижными высокими деревьями, тронулся к утру и посерел. Что-то неуловимое дрогнуло в воздухе, и все проснулось легко и быстро, точно по уговору. Какая-то птица слабо чирикнула, будто спрашивая кого-то о чем-то. Ворона, тяжело снявшись с отсыревшей ветки и неуклюже цепляясь мокрыми от росы крыльями за тоненькие веточки, полетела между деревьями, не погружаясь вниз, в туман. Вздрыгнула трава и шевельнулись листья, и вдруг сразу стало радостно светлеть. Туман решительно заколыхался вверх

и вниз, будто волнуясь, и вытянулся в легкие, колеблющиеся столбы, торопливо и неслышно заходившие между стволами деревьев, как таинственные воздушные призраки между колонн высокого холодного храма. С неслышимым звоном разлились в воздухе нежные розовые отблески.

Ланде вылез из шалаша, и его тонкая черная фигура вытянулась над бледно-зеленым папоротником, как черный зигзаг в белой мгле. За ночь он сильно продрог, и лицо у него было бледное, серое, измятое. Он оглянулся кругом, и в первую минуту ему показалось странно и одиноко в колышущейся мгле.

Но утро все больше и больше светлело. Туман бесследно и покорно таял. Бледные и прозрачные призраки неслышно убегали куда-то от наступающих розовых стрел. Близко и далеко начался невидимый могучий хор лесной жизни. Верхушки деревьев вспыхнули густым розовым огнем, а над ними ярко заголубело небо. И Ланде весь проникся живым теплом и светом, разливающимся повсюду.

Ему не хотелось идти отсюда. Он сел возле шалаша на землю и сидел тихо, напряженными радостными глазами наблюдая кругом.

День подымался. Его яркий, бесконечно могучий и живой свет грел сердце. Ланде то сидел, то лежал под деревом, с которого на него сыпались легкие золотые листья, и жадно следил за новой для него, таинственной жизнью леса. И ему казалось, что смутно начал он постигать ее.

Все глубже охватывал его радостный покой, и все больше слабело тело.

Он заметил эту слабость и поел; но еда не шла в горло, и после еды он ослабел еще больше. Ланде встал на ноги, но идти не мог: странная истомная слабость дрожала у него в коленях, голова чуть кружилась, была тяжела, а сердце билось тихо и редко.

«Я нездоров... – подумал Ланде без страха и удивления, как будто ждал этого, и ему казалось, что он точно ждал и знал. – Должно быть, ночью простудился, – машинально сообразил он, – надо остаться здесь».

Смутная, покойная радость тихо стала подниматься в его душе.

«Чему я рад? – улыбаясь сам себе, спросил Ланде. – Тому ли, что надо еще оставаться здесь, или чему-то другому?.. Не знаю... а только как светло, тихо, как хорошо!..»

Целый день он без определенных мыслей, весь в созерцательном, ласковом чувстве смотрел перед собой.

Так было много света, красок, прозрачности и жизни, что счастье и умиленная тоска жгли его глаза.

Гул лесных голосов непрестанно шел по лесу, но кроме молчаливых птичек с зелеными хвостиками Ланде не видал никого. В самый полдень уже из леса, по ту сторону папоротников, вышел худой всклокоченный медведь. Маленькие черные глазки его смотрели на Ланде внимательно и серьезно. Он сел на задние лапы, слегка повел шеей, вздохнул и

опять уставился на Ланде. Все кругом было тихо и ясно. Какая-то птица тихо ворошилась вверху между зелеными, сквозившими на небе ветками.

– Господи, как хорошо! – повторил себе Ланде, и глаза у него стали мокрыми.

Медведь издал странный, точно всхлипывающий звук и опять повел шейей.

– Милый! – сказал Ланде, и ему страшно захотелось подойти и приласкать медведя по бурой, облезшей клоками шерсти. Но он побоялся испугать его.

То, что медведь может броситься на него, не приходило ему в голову, потому что в душе его было так тихо и кротко, что ничто грубое, жестокое и злое не входило в нее.

«Хлеба ему дать?» – подумал Ланде, и сам засмеялся этой мысли.

Медведь тяжело и протяжно вздохнул, посмотрел своими черными глазами, встал и, легко переваливаясь, пошел прочь в лес. Ланде было грустно и весело смотреть, как он уходил между высокими, как колонны, деревьями.

«Тут бы и умереть»... – подумал вдруг Ланде с теплыми слезами.

И мысль о смерти с отчетливым круглым сознанием ее близости властно, но спокойно вошла в его душу.

«А Вася?» вспомнил он, но мысль эта тихо вспыхнула и растворилась в радостном могучем сиянии дня, точно ушла к кому-то другому, более властному.

XXIV

Дождь лил как из ведра, и по всему лесу шел долгий, непрерывный шум. Иногда казалось, что вблизи, за кустом, кто-то всхлипывает и плачет тоненьким серебристым плачем. А потом становилось слышно, что то вода звенит.

Ланде лежал в шалаше. Мокро, душно и непроницаемо темно было вокруг. Иногда ему казалось, что он лежит в бесконечной пустоте, когда Ланде с трудом поднимал горячую дрожащую руку, у самого лица натыкался на невидимые, намокшие, тяжелые ветви, и на его лицо падали крупные холодные капли. Голова горела, страшный озноб рвал все тело, и Ланде бессильно корчился на земле, напрасно стараясь согреться под мокрым подрясником. Перед открытыми глазами во мраке сыпались огненные искры и крутились золотые круги. Физическая тоска сжимала сердце.

«Я умираю... – подумал Ланде. – Так... Господи, да будет воля твоя!»

От холода, от боли он плакал. Одинокие, никому не зримые, капали горячие слезы на мокрую землю, попадали в рот, на судорожно колотившиеся зубы.

– Господи, Господи!.. – тихо позвал он, и этот одинокий звук был так странен во мраке и лесу, что ему самому показалось, будто все стихло на мгновение; стихло и прислушалось; а потом еще сильнее, и близко и далеко, зашумел по

лесу дождь и захлюпала вода.

Ланде забылся, неподвижно скорчившись на земле коленями в подтекшей холодной луже. Был бред.

Из мрака выглянула большая заячья голова. Длинные уши были прижаты назад, и красные глаза в упор смотрели на Ланде. Что-то ужасное, насмешливое и злое было в этой молчащей голове. Она тихо, медленно, чуть заметно кивала Ланде. Вдруг все вокруг осветилось желтым светом, точно где-то близко, за спиной, стала невидимая лампа и при ее странном свете Ланде, как будто со стороны, увидел свое тело, скорченное в луже, безобразное и жалкое, облипшее мокрым черным подрясником, грязное, несчастное, как червь. Страшная мука и страх приблизились к сердцу Ланде. С диким, нелепым криком он сел, стукнувшись головой о ветки. Целые струи холодной воды полились на него, но он не очнулся. Масса знакомых лиц, живых, блестящих глазами, бесконечной лентой уходящей вдаль, стали приближаться к нему. Они подходили, наклонялись к нему, смотрели и уходили, а за ними шли новые. Лампа уже не стояла за спиной Ланде, а как будто от него самого шел слабый, но ясный свет и ложился на наклоняющиеся к нему лица все дальше и дальше во все стороны. Стало тихо и хорошо. А потом опять засветилась лампа и опять корчилось черное, как раздавленный червяк, тело, и опять что-то кивала заячья голова.

Не мысль и не бред, и не чувство, а яркий свет какого-то чудесного проникновения пронизал воспаленный мозг Лан-

де, и в ту же минуту вся жизнь его раскололась надвое: будто то что-то громадное, светлое и чудесное в своей непонятности, что он делал всю жизнь, отошло от него и медленно расплылось, наполняя все вокруг; а его самого острое страдание, одинокое, непобедимое и последнее схватило, впустило острые когти и страшно придавило к земле.

– А... а!.. – слабо и тоненько прокричал во мраке Ланде.

XXV

Рязанские мужики, плотники, пробираясь на родину, в лесу, далеко от жилья, наткнулись на мертвого человека.

Труп лежал в шалаше, набросанном из сухих и вялых веток, поджав ноги и скрючив пальцы рук. Голова на длинной тонкой шее подвернулась так, что лица не было видно. На нем был черный подрысник, слежавшийся в грязные комья; одна нога почему-то была босая. От трупа шел тяжелый мертвый запах и странно и страшно мешался с тонким и сладковатым запахом вянущего папоротника, которым поросло это место.

Один из плотников, рыжий высокий мужик, потрогал ногу трупа носком сапога. Мертвая ступня чуть-чуть шевельнулась и замерла.

– Померши... – глубокомысленно проговорил мужик, почесал затылок, постоял и вдруг с искажившимся от страха и непонятной ему самому мучительной злобы лицом дернул и потащил труп из шалаша за ногу. Голова закачалась и запрыгала по земле, руки шлепнулись на землю, как будто тяжело всплеснули, и поволоклись, ковыряя пыль. И сразу пахло таким ужасным, омерзительным запахом, что мужиков шатнуло.

– О, черт! – удивленно сказал рыжий мужик, как будто этого никак нельзя было ожидать.

Мужики стояли и смотрели.

Горько и одиноко лежал труп, прямо перед собой глядя в далекое небо мертвыми мутными, как будто от тяжких слез, глазами. Холодный и немой, с навсегда сжатыми губами, без слов говорящими о страшной тайне, он как будто распространял вокруг себя вместе с тяжелым запахом скорбное молчание. На груди разорвалась черная материя, желтела иссохшая, как глина, кожа, к которой плотно налипли сухие листья и серая грязь, и казалось, что это земля уж охватила его своими серыми щупальцами и медленно и неуклонно уже тянет в себя.

Долго стояли мужики и смотрели, как будто не находя того, что было нужно. Наконец, седой и величавый мужик вздохнул, снял шапку и перекрестился. Перекрестился раз, подумал, сказал: – Вечная, значит, память!.. – и перекрестился еще два раза. И все мужики поспешно, точно сваливая с себя страшную томительную тяжесть, посдергивали шапки и замелькали в воздухе пальцами.

Потом пошли гуськом, не глядя назад.

И им еще долго казалось, что желтый лес и солнечный свет, трава и высокое небо, как будто невидимым черным налетом, скованы тяжелым молчанием. Но на самом деле все было радостно, светло сверкало и переливалось в свете солнца вечно живой, свежей и веселой в самой смерти своей зеленью.

Шедший сзади всех мужик украдкой обернулся и далеко

уже позади, из-за куста, золотого и яркого, увидел бледный силуэт иссохшей, неподвижной ноги.

На этом месте из года в год особенно густо и радостно рос папоротник.

1904